

ISSN 0134-4331

БАЙКАЛ

литературно-художественный
и общественно-политический журнал

2025 № 2 • март–апрель



БАЙКАЛ

литературно-художественный
и общественно-политический
журнал

издаётся с 1947 года

№ 2 2025

март — апрель

Улан-Удэ

18+

Содержание

Андрей Мухраев	3	Вечная песнь грешника. <i>Повесть</i>
Сергей Бирюков	23	Стихи над Байкалом
Юлия Бочарова	29	Третий глаз Ивана Саввича. <i>Рассказ</i>
Олег Игнатьев	36	Ледоход. <i>Стихи</i>
Маргарита Торгашина	41	Харасё, когда всё харасё. <i>Рассказ</i>
Татьяна Григорьева	44	Монологи вещей. <i>Стихи</i>
Константин Сонголов	49	Слон и вьетконговцы. <i>Рассказы</i>
Ахмет Мурат	58	Любить Симбада. <i>Стихи.</i> <i>Перевод с турецкого Елены Родченковой</i>

В мире интересного

Юрий Неронов	60	Немецкий отец байкальского омуля
--------------	----	----------------------------------

80 лет Победы

Семён Метелица	65	Город мужчин <i>Главы из неоконченного романа</i>
Андрей Румянцев	105	Два рассказа
Евгений Голубев	110	Улица Лимонова. Десять тысяч дней мужества
Сергей Доржиев	115	Снайпер Цырендаши Доржиев
Людмила Дампилова	125	Образ монгольского коня на войне в творчестве Галины Базаржаповой

УДК 89
ББК 84 (2Рос=Буря) я5

Учредитель
ГАУ РБ «Издательский дом „Буряад үнэн“»

Директор – гл. редактор
Д. Н. Болотов

На обложке
фото Юрия Извекова

Редактор
Булат Аюшеев

Литературный редактор
Ольга Хандарова

Художественный редактор
Юрий Невский

Макет
Амгалан Ринчинэ

Вёрстка
Булат Аюшеев

Редакционная коллегия
Гун Аюрзана (Улан-Батор)
В. Б. Балдоржиев (Чита)
Г. Т. Башкуев (Улан-Удэ)
В. А. Берязев (Новосибирск)
Т. П. Григорьева (Улан-Удэ)
Л. С. Дампилова (Улан-Удэ)
Б. С. Дугаров (Улан-Удэ)
С. С. Имixelова (Улан-Удэ)
А. Г. Румянцев (Москва)
А. Д. Улзытуев (Москва)
Н. Д. Хосомоев (Улан-Удэ)

Журнал выходит 6 раз в год

Адрес редакции и издателя:
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Каландаришвили, 23

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-57133 от 11 марта 2014 г. выдано
Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций.

Редакция знакомится
с письмами читателей, не вступая
в переписку.

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

За достоверность фактов
несут ответственность авторы статей.
Их мнения могут не совпадать
с мнением редакции.

Б 183
© ГАУ РБ «Издательский дом
«Буряад үнэн»

Андрей Мухраев



Мухраев Андрей Антонович родился в 1963 году в Улан-Удэ. Окончил электротехнический факультет Восточно-Сибирского технологического института. Работал на Гусиноозёрской ГРЭС, Улан-Удэнской ТЭЦ №1. В 1999 году окончил Высшие литературные курсы Литературного института им. А. М. Горького. Член Союза писателей России. Автор нескольких книг стихов и прозы. Лауреат премии имени Исаия Калашникова. Произведения публиковались в журналах России, Польши, Канады, Монголии. Пьеса «Распятие» была поставлена на сцене Бурятского театра драмы.

Вечная песнь грешника

повесть

Я — дерево. Когда-то я был человеком, но в своем шестом воплощении в порыве отчаянья и злобы на людей совершил самое страшное из преступлений — убил сам себя и выпал из цепи перерождений. И стал деревом. Я обрел древесную плоть, и душа моя впиталась в нее, как скудная влага в песок. Мои корни укрепились в земле, я ничего не вижу и не слышу, ничего не чувствую, и лишь по отдаленным движениям соков внутри меня понимаю, что на земле наступили весна, лето, а когда все внутри меня замирает — осень или зима.

Жизнь дерева — это, по сути, фантазия, сон, в котором отрывками проявляются события моих прошлых жизней, это темное звездное ночное небо, где среди звезд появляются картины, медленно плывущие, размытые, неясные, и только по ка-
ким-то далеким ощущениям ты понимаешь, что эти картины и видения касаются тебя — твоей судьбы, твоего земного пути. И мне кажется порою, что я не дерево, а что я — Млечный Путь, по которому текут, как молоко, звезды и солнечные системы. Мне кажется, что душа моя не меньше Вселенной, что я сам бесконечен, как и она, и сон мой будет бесконечен, как само мироздание, как сама Вечность.

Мои сны-мысли тяжелы и тягучи, словно смола, и сотни, и тысячи раз мне снятся и вспоминаются события моих прошлых человеческих жизней. Они проплывают мимо меня медленно, словно звездные облака, и не приносят мне ни радости, ни страдания, ни утешения. Если бы я мог что-нибудь изменить в своем прошлом, но это невозможно. Мы сами ничего не можем изменить...

Раб

4

Впервые я родился на черной, скудной, высохшей земле, около узкой, мутной реки, и жизнь моя была коротка и печальна. Я помню черные руки моей черной матери, ее иссохшую грудь, и то, как она укрывала меня от солнца или дождя. Я был рабом, но не знал этого, а просто с детских лет работал в поле, не разгибая спины, и спал прямо на земле под открытым небом. И ночью, когда я смотрел на звезды, они казались мне живыми душами умерших и оттого счастливых людей, которые свысока смеются над нами и над нашими бедами. И я тоже хотел стать звездой.

Однажды летом мы страдали от палящего солнца, река наша высохла, и много дней нас мучила невыносимая жажда. Многие умерли в тот сезон. А потом пошел дождь, который напоил землю, людей, волов, но который продолжал идти не переставая — вода залила все наши поля и пастбища, наши хижины, и мы стали болеть и умирать, ибо сырость разъедала наши тела. Моя мать страдала от кашля, и ее тело высохло от голода и болезни.

— Дай мне что-нибудь поесть, — прошептала она.

Я пошел на обочину дороги и стоял там, протянув руку, надеясь, что проезжающие или проходящие мимо люди кинут мне что-нибудь съестное. Наши надсмотрщики заметили меня и плетью загнали обратно в поле. Там я увидел, что моя мать уже умерла, на лице у нее застыла блаженная улыбка, потому что она радовалась своей смерти. В тот же день ее сожгли вместе с другими умершими.

А ночью я опять смотрел на небо, и мне казалось, что звезд стало больше и что одна из новых звезд — это душа моей матери, которая звала и манила меня, и я хотел побыстрее умереть, чтобы воссоединиться с ней. И моя мечта исполнилась — вскоре я тоже тяжело заболел и умер, глядя на звезды.

Еретик

Мои последующие жизни были скучны и кратки, как искры огня. Я рождался и умирал, и никто и ничто не напоминали мне о моих перерождениях. И каждый раз я рождался на земле будто бы заново...

Однажды я родился в доме ремесленника, который делал колеса, двери, наличники, и в его доме всегда пахло сырым деревом и свежей стружкой. Этот запах вошел в меня вместе с молоком моей матери, которая любила и лелеяла меня. И мне суждено было стать ремесленником.

Мы жили в небольшом городе в Западной Европе. В городе была булыжная мостовая, фонари, несколько десятков домов с черепичными крышами, а также высокое здание ратуши, где заседал городской совет. Помню, что в детстве мы жили в доме, среди каштанов и лип, а рядом строился огромный кафедральный собор. Хотя чуть подальше стояла небольшая уютная церковь. Ее вполне хватало для горожан.

— Зачем они строят эту церковь? — спросил я мать, когда был еще совсем маленький.

— Это дом Божий, — ответила мать.

И я представил себе Бога, для которого строился храм, и спросил:

— А наша церковь ему не подходит?

— Нет, — ответила мама, — она слишком маленькая для Бога.

И я стал представлять себе, что Бог сначала был маленьким, а потом вырос, и ему понадобился новый дом.

Когда я немного подрос, отец стал понемногу обучать меня ремеслу.

— Этим, — говорил он, — ты всегда сумеешь заработать себе на хлеб.

Конечно, мой добрый старик был прав. Но я выбрал другой путь. В то время по дорогам бродило много бродячих певцов и музыкантов, и мне нравилась их жизнь. В одну из весен, когда мне исполнилось семнадцать лет, большая группа таких музыкантов проходила через наш город. Среди них был один высокий молодой человек в куртке и шляпе, который пел шуточные песни о придворных и служителях церкви. Он говорил много такого, что тогда показалось очень смелым и новым.

— Смотрите, — сказал он, указав на церковь, которая все еще строилась, — у людей не хватает хлеба, многие живут в соломенных хижинах, а они строят дом для Бога, чтобы поселить его туда и брать плату за встречу с ним. Поистине, неисповедимы дела Твои!

И он весело засмеялся. Засмеялись и все вокруг. Этого человека звали Рихард Гауф. Он подозвал меня к себе, спросил, как меня зовут и умею ли я играть на каком-нибудь инструменте.

— Нет, — ответил я.

— Научим, — сказал он и похлопал меня по плечу.

Он даже не спросил, хочу ли я идти с ним, но я пошел следом и стал миннезингером, отказавшись от куска хлеба, который всегда приносило бы мне ремесло моего отца. Мы жили бедно, но весело. Но закончилась моя жизнь быстро и более чем странно...

В 1492 году Рихард Гауф стал проповедовать, что люди, которые веруют во Христа, должны исцелять больных, говорить на разных языках, воскрешать мертвых и проходить сквозь стены. Я был ярым сторонником Рихарда. Однажды мы проповедовали в графстве Людвиг фон Барбаросса, где тогда жили, и у нас появилось множество последователей. В то время власти очень внимательно относились к ересям, нас арестовали и бросили в разные тюрьмы, чтобы у нас не было возможности общаться.

Я думал, что легко перенесу это заточение, но сырость, затхлый воздух, отсутствие солнечного света и плохая пища за год превратили меня в старика. Я оброс космами, у меня была длинная борода, старая, изношенная одежда, но все дни и ночи я проводил в размышлениях и молитвах.

Иногда нас вызывали на допросы, которые проводили местные следователи, а однажды даже привели на беседу к самому графу. Это был невысокий, сухощавый человек, с живым, пристальным взглядом, с тонкими губами, вытянутыми вверх так, что, казалось, он смотрит на весь мир свысока и с усмешкой. Впрочем, может быть, так и было.

— Вы выглядите, как старик, — сказал он, — хотя очень молоды. Я думаю, что в силу своей неопытности вы примкнули к шайке еретиков, а сейчас осознали свою ошибку. Скажите мне, что это так, и я рассмотрю вопрос о вашем помиловании. И, пожалуйста, обдумайте свой ответ. Поверьте, от него зависит ваша судьба. А я подожду.

Я помолился и хотел уже признаться, что совершил ошибку, приняв еретическое учение, но в этот момент увидел усмешку на губах графа и понял, что не стерплю унижения от этого человека.

— Нет, — сказал я, — я поддерживаю все идеи Рихарда Гауфа. Бог дарует людям свободу, а вы и церковь хотите её отобрать. Церковь благословляет вашу власть, а вы за это поддерживаете её. Вы — тиран. Вы судите, казните и милуете по своему усмотрению.

— А вы упрямый злодей, — сказал Барбаросс, — едкий и опасный тип.

— Бог есть любовь, а вы казните и убиваете, и значит вы не от Бога, — перебил я его.

— Всякая власть от Бога, как ты знаешь.

— Не смейте цитировать Священное Писание! Вы не достойны его. Вы правите в одиночестве...

— Бог тоже правит в одиночестве, однако это никого не возмущает.

— Вы — настоящий богохульник, — воскликнул я, — то, что вы говорите и есть настоящее богохульство!

— Может быть, — сказал граф, ухмыльнувшись, — но между нами большая разница. Я имею власть, а ты просто тюремный червь, и тебя никто никогда не услышит.

И меня опять бросили в темницу.

Там меня посещал один старый монах, который беседовал со мной и просил меня отречься от моих заблуждений. Приход исповедника мог означать также то, что нас вскоре казнят.

«Спаси, свою бессмертную душу», — говорил он. Но я не хотел ничего слушать. Я искренне верил в то, что говорил.

— Как ты можешь верить этому человеку, этому богохульнику, который везде сеял разврат. Ты знаешь, что он жил с замужней женщиной? — спросил монах.

— Знаю, — ответил я и не соврал, ведь я на самом деле хорошо знал Терезу.

— Он презирает все законы, Божьи и человеческие.

— Они любят друг друга, — ответил я, — любовь очищает все.

— Он презирает таинства церкви и глумится над святынями!

— Но он свободный человек, — возразил я, — никто не имеет права заставлять кого-то верить во что-то.

— Неужели ты поддерживаешь его?

— Да, — ответил я.

Монах покачал головой, всплеснул руками и вышел из темницы.

Через несколько дней меня заковали в очень длинные цепи и вывели на площадь, где собралось много народа. Инквизиторы еще раз предложили мне отречься от своих убеждений, но я опять отказался.

Тогда мне предложили пройти сквозь стену, чтобы доказать истину моих поучений.

— Я не могу, — сказал я громко, чтобы меня слышала толпа.

— Но вы же утверждаете, что человек, который верит во Христа, может проходить сквозь стены! — воскликнул ведущий церемонии. — Это факт.

— Это была просто метафора! — воскликнул я.

— Нет, вы говорили это серьезно. Не нужно отрекаться от своих слов. Помогите ему, — повелел граф Барбаросса.

Два огромных охранника растянули меня на цепях, и только тут я понял, почему они были такими длинными. Они ударили мной в стену, словно тараном. Последнее, что я увидел, находясь в сознании, это образ каменной, покрытой плющом стены. После третьего удара я испустил дух...

О, вера, вера... Я верил, что попаду в рай и обрету вечную жизнь с Богом, но моя душа, поблуждав во вневременье, опять вернулась на землю...

Беглец

В одном из своих перерождений я родился в белорусской деревне, в семье сельского кузнеца, и хотя я был немного тугим на ухо и слабоумным, природа наградила меня удивительной силой. Все мое детство прошло около наковальни, в жаре плавильной печи, под стук молотков о железо. Я выглядел намного старше своих сверстников, все они боялись и уважали меня как старшего, задабривали и в драках всегда старались переманить на свою сторону.

Когда мне исполнилось восемнадцать лет, я был уже зрелым мужчиной, отличным кузнецом, и отец подыскивал хорошую пару, чтобы меня женить. Красивых девок у нас на селе было много, но мне нравилась самая красивая — Анисся. Ее волосы, тело, смех часто снились мне по ночам. Я пытался помогать ей, но она не только не отвечала мне взаимностью, но просто насмехалась надо мной и избегала меня. Я часто поджидал ее возле дома, а она убегала от меня, как от чумы. Но я не отставал от нее. Тогда отец Анисси пришел к моему отцу, пожаловался на меня и потребовал, чтобы я оставил девушку в покое. И мой отец стал требовать этого от меня.

— Не в коня корм, не для тебя эта девка, — сказал он.

И два моих младших брата только смеялись надо мной. Но я ничего не мог с собой поделать и продолжал преследовать ее. Однажды поздно вечером, в ночь на Ивана Купала, я подкараулил Аниссю, когда она выходила из хоровода. Я взял ее за руку и стал тянуть в темноту. Мне хотелось сказать ей, как сильно я ее люблю.

— Пойдем, пойдем, — упрямо говорил я, но девушка не хотела идти со мной и пыталась вырвать свою руку. Нашу борьбу увидели парни, которые вились вокруг Анисси.

— Эй, дурачок, оставь Аниссю, — сказал один из них.

Но я не замечал этих парней, как наша лошадь не замечает мошкар. Их было пять или шесть человек, но меня это не пугало. Один из них стал помогать Аниссе освободить руку, но я грубо оттолкнул его. Началась драка. Они налетели на меня со всех сторон, кровь ударила мне в голову, я стал бить и отшвыривать их от себя, как медведь отшвыривает собак. Я валил их своими огромными кулаками, они падали, а, поднявшись, больше не решались нападать на меня. Я стал бить Аниссиного ухажера руками и ногами, пока он не перестал сопротивляться. Посмотреть на драку сбежалось полдеревни, и лишь эта толпа народа смогла остановить меня.

Через два дня в деревню приехали два жандарма и арестовали меня. Меня повезли в губернский центр, на суд. Дело было пустяковым, для жандармов было обычным делом арестовывать деревенских драчунов — их обычно отпускали через день-два, продержав в тюрьме для острастки. Так что жандармы сильно не охраняли меня, обходились со мной не грубо, но я был очень сильно напуган и по своему слабоумию решил, что меня везут на казнь. В одном из трактиров по пути в город жандармы выпили сивушной водки и стали шутить, что меня повесят.

— В лучшем случае тебе грозят Сибирь и каторга, — сказал один из них, подмигивая напарнику, — а так готовься надеть шелковый галстук.

И охранник весело захохотал. Я был недалек умом и поверил, что меня ждет виселица. И не стал ждать, когда меня привезут в тюрьму. Мне удалось незаметно освободить свои руки от веревок и, пользуясь тем, что жандармы совсем перестали следить за мной, схватил березовое полено — я давно приметил его — и стал бить им засыпающих жандармов, пока они не перестали подавать признаков жизни. Я так и не узнал — убил их или не убил. Сознание мое совсем помутилось, я забрал все деньги, которые нашел у жандармов, их вещи и оружие, и на телеге поехал в город. По дороге мне встретился жандармский наряд, они спросили меня, кто я такой и куда еду, но я не стал отвечать, а сразу же выскочил из телеги и побежал от них по гречишному полю. Но эти жандармы быстро догнали меня, скрутили и отвезли в участок. Меня продержали там несколько дней. Позже в столице губернии состоялся суд. Меня быстро изобличили в моем преступлении, заковали в кандалы и повезли в Сибирь, которую я так боялся. Меня везли несколько месяцев. Я очень быстро оброс волосами, и борода моя выросла почти до пояса.

Как-то один из надсмотрщиков стал бить меня за то, что я плохо слушался его, я не выдержал и ударил его по голове. На меня налетели все жандармы и избili меня до полусмерти, ногами, руками, палками, чем придется. Они заковали меня в кандалы и уже не снимали их до самого Туруханска. Там я провел несколько лет. От побоев разум мой совсем помутился, я жил словно в полусне и ел, работал, двигался, спал словно механически — внутри меня жил страх, что меня опять могут избить, если я что-то сделаю не так. Жандармы стали считать меня спятившим с ума и позволяли снимать кандалы. Однажды весной меня перевозили с одного рудника на другой, и я почему-то решил, что там меня будут наказывать розгами. От ужаса разум мой прояснился. Я ухитрился освободиться от оков и на одной из стоянок выпрыгнул из телеги и убежал в лес. Никто меня не догонял, но я бежал до тех пор, пока совсем не обессилел. Несколько дней и ночей я брел по тайге. Я так оголодал, что пытался есть кору деревьев, среди которых шел. Мне страшно повезло, что я набрел на едва заметную тропку и вышел по ней к охотничьей стоянке, где было зимовье. На лай собаки из зимовья вышел охотник — он был не русским и поднял ружье, когда увидел меня. Но я так ослаб, что просто упал перед ним на землю и сразу уснул.

Проснулся я в зимовье, под тяжелой и теплой медвежьей шкурой. Старый охотник был так добр, что ухаживал за мной много дней и ночей, пока я не набрался сил. Через шесть ночей, в полдень, охотник забежал в зимовье и что-то стал говорить на своем языке, призывая быстрее собираться и уходить. Я послушался, так как понял, что к стоянке подходят какие-то недобрые люди, может быть даже жандармы. Я быстро оделся, захватил с собой туесок с провизией, который дал мне мой добрый тунгус, и выскочил из зимовья. Вдали слышался лай чужих собак. Это подтверждало самое худшее — к стоянке приближались жандармы. Охотник указал мне путь далеко в тайгу, и я ушел в ту сторону. Больше я никогда не видел своего спасителя.

Много-много дней я брел по тайге, вдоль маленьких рек и ручейков, пока, наконец, не дошел до огромного озера, которое местные жители называли Священным морем. Я шел по берегу этого озера-моря, не останавливаясь, так как, судя по верстам, в этих местах еще встречались жандармские патрули. Я надеялся найти забытое Богом место, где мог бы отдохнуть от своих странствий. В избушке бедного

рыбака я пережил и позднюю осень, и зиму, а в начале весны собрался в дорогу, оставаться там больше было небезопасно. Я перешел Байкал по толстому и прозрачному льду и пошел дальше — в места, которые были бы безопасны для меня.

К лету я преодолел лесистые горы и вышел в теплые, просторные степи, по которым обильно протекали ручьи и небольшие речки. К середине лета я подошел к маленькому селению, в котором жило несколько десятков жителей — инородцев с узкими глазами и преимущественно невысокого роста. На окраине поселения я нашел старую кузницу, в которой никто не жил и поселился там. Наутро несколько десятков человек из селения пришли посмотреть на меня. Я был очень чуден для них, обросший, в клочьях волос, и борода свисала у меня чуть ли не до пояса. Чужеземцы показывали на меня пальцем и подходили потрогать руками, как неведомое животное. Они были вполне миролюбивы, и я совсем не боялся их. Впрочем, и они были чудны для меня. У них были скуластые, широкие лица со скупыми разрезами глаз, в основном роста они были небольшого, даже маленького, но и среди них было три богатыря, не обделенных ни ростом, ни силой. Самый старый из туземцев и, видимо, самый уважаемый, указал пальцем на наковальню и стал трясти кулаком, изображая стук молота.

— Ты кузнец? — спросил он меня на своем языке, но я догадался, о чем он меня спрашивает.

— Да, — закивал я в ответ.

Мои гости одобрительно заулыбались, видимо, им понравилось, что у них в деревне будет кузнец. Они что-то недолго обсуждали на своем языке и вскоре разошлись. Неподалеку от моего пристанища протекала небольшая речка, где водилось много рыбы, которая и стала моей основной пищей.

Со мной осталась жить старая бездомная собака, ставшая для меня единственным другом. Я называл ее просто Пес. Я решил остаться в этих местах, и мысль, как обустроиться и как я буду жить, постоянно беспокоила меня.

Однажды утром ко мне подъехал сельчанин и показал мне дырявую кастрюлю.

— Можешь залатать дыру? — спросил он меня на своем языке, но я понял, что он спрашивает именно это.

— Нет, — я покачал головой, — у меня нет инструмента.

Мой посетитель остался недоволен этим ответом, он что-то забурчал себе под нос, и в его узких глазах сквозило осуждение. Он вскочил на коня и ускорился. Через какое-то время он опять приехал ко мне и бросил на землю прямо передо мной тяжелый сверток, в котором были два тяжелых молота, молотки, зубило, ухваты, железные скрепки. Я думаю, что мой посетитель отдал мне вещи старого кузнеца, который жил в деревне до меня. И еще в этом свертке оказались две бумаги старого кузнеца: свидетельство его личности и право заниматься кузнечным делом. Так я приобрел себе новые имя и фамилию.

И я решил остаться жить около этой деревни. Жизнь моя протекала уединенно и спокойно, я много работал, строил кузницу, таскал камни для своего жилища, валил деревья, рыл ямы для столбов. Мне удалось восстановить старый горн, сложенный из камней с железным вытяжным зонтом, двурогая наковальня осталась целой, а тиски и инструменты: несколько ручников, кувалду, клещи с разными губками, зубила, как я уже упоминал, привез мне сельчанин. При помощи этого нехитрого инструмента я стал немного зарабатывать на жизнь, ремонтируя сельхозорудия, котлы и сковороды, и другие вещи сельчан.

В это время ко мне стала приходить одна женщина — она сидела неподалеку и смотрела, как я работаю. Это была деревенская дурочка, юродивая, можно сказать, все родственники которой умерли от какой-то болезни. Эта женщина была неопрятной и грязной, жила, где придется, питалась от подаяний сельчан и походила на старую нищенку. Вскоре она стала ночевать у меня в углу, не спрашивая моего разрешения. Однажды вечером она подошла ко мне и стала гладить меня по лицу, удивляясь моему заросшему волосами телу. Вдруг она взяла меня за причинное место и засмеялась, когда оно выросло у нее на глазах. Обезумев от возбуждения, я овладел ею. Мы жили с ней, не выходя из дома целыми сутками, ублажая друг друга, и время перестало существовать для нас. Как ни странно, я совсем не замечал уродства этой женщины и даже находил ее красивой. Мы стали жить с ней, как муж и жена. Вскоре она забеременела. Ожидание ребенка, совсем изменило ее, она стала задумчивой, стала следить за собой, мыться, убираться в доме, готовиться к рождению ребенка. Мне кажется, что Бог каким-то чудом вернул ей разум. Впрочем, как и мне. Через год у нас родился здоровый и красивый ребенок, сын. Он был чудом, это был самый красивый и умный ребенок на земле. Мы не могли наглядеться на него. Может быть тогда, в далекой, затерянной посреди Сибири деревушке, я вырвал у судьбы небольшой и яркий кусочек счастья, которое продолжалось недолго.

Когда нашему сыну исполнилось пять лет, моя жена заболела и умерла. Горе мое было безмерным. Я похоронил ее под деревом, около холма в начале леса, в одинокой могиле, и часто ходил навещать. Лишь забота о сыне отвлекала меня от моего горя. Вскоре мой сын окончил начальную школу и уехал в город, учиться дальше. И я потерял его следы. Однажды я предпринял отчаянную попытку найти его, и поехал в город, и ходил там от дома к дому, спрашивая о нем. Я истратил все свои скудные средства и ходил как нищий. Ни с чем я вернулся домой. Много лет я жил воспоминаниями о своей жене и раздумьями о судьбе сына. Жизнь потеряла для меня всякий смысл, но я жил, в глубине души надеясь когда-нибудь встретить своего отпрыска. И однажды эта встреча произошла. В один весенний день к моей кузнице подъехала бричка, в которой сидел какой-то важный и, по-видимому, богатый молодой господин. И хотя я много лет не видел своего сына, я сразу узнал его. Он был бородат, как и я, но борода и волосы его были черны, и только слегка узковатые глаза и чуть выдающиеся скулы выдавали в нем черты моей жены.

— Здравствуй, отец, — сказал он, когда вылез из брички.

Он даже подошел и слегка обнял меня, чтобы не запачкать своего дорогого костюма. Он обошел и осмотрел наш дом, кузницу, сходил на могилу матери. Он рассказал мне, что его взял на воспитание один весьма богатый купец, которого он теперь называет своим отцом, что он выучился, женился и имеет свое, весьма доходное дело. Он сказал, что может взять меня с собой в город при условии, что я не буду говорить никому, что я его отец.

— Правда, я не знаю, чем ты там будешь заниматься, — сказал он, — разве только дворником работать.

— Нет, я останусь здесь, — ответил я, — буду жить возле могилы твоей матери.

— Ну хорошо, как знаешь, — сказал мой сын с облегчением.

Мы попрощались. Больше я никогда не видел своего сына. На прощанье он сделал мне один драгоценный подарок — подарил свою семейную фотографию, на которой были запечатлены он, его жена и их маленький сын, мой внук. Я мог часами

разглядывать эту фотографию, представляя себе своего сына, его жену и своего внука. Как ни странно, мысль, что они живут где-то на земле, делала меня счастливым. Так проходил год за годом. Иногда ко мне заглядывал старый буддийский монах, который отчего-то любил смотреть на мою работу и на огонь в печи.

— Ты человек простой и малообразованный, — говорил он мне, — ты почти ничего не видел, но ты живешь здесь своей примитивной жизнью, и мне кажется, что ты счастлив. Отчего же ты счастлив? Как можно быть счастливым, когда твоя жена умерла, а твой сын бросил тебя?

Я не совсем понимал, о чем он спрашивает, и ничего не отвечал ему. Да он и не ожидал ответа. Это был старый человек, который всю жизнь посвятил изучению священного учения Будды, ходил пешком в Индию и Тибет, а теперь служил в небольшой молельне на окраине селения, недалеко от меня. Иногда монах приносил с собой молочную водку и выпивал ее вместе со мной, ведя при этом странные и непонятные для меня беседы.

— Человек простой, верующий в свои простые, понятные, примитивные принципы, живущий ими, не знающий никаких сомнений и озадаченный лишь своими повседневными заботами, оказывается гораздо счастливее нас, несчастных философов, которые вечно ищут истину и вечно сомневаются. И мы, философы и богословы, путем долгих и трудных поисков вдруг находим, что истина и счастье находятся в простых принципах, в простой и понятной вере, которая дается простым людям просто так, с рождения, и эти принципы составляют основу их счастья и их благополучия. И ты, полоумный кузнец, гораздо счастливее, чем я, человек, который всегда искал какую-то формулу счастья, какого-то смысла нашей жизни, и потратил на эти поиски свои самые лучшие годы.

Монах часто хмелел и начинал плакать.

— Мы хотим и стремимся успокоить свою душу знаниями, но не можем. Мы хотим насытиться, но не насыщаемся, ищем счастья, но не находим. Нас мучает жажда, которую невозможно утолить, тоска, которую невозможно утешить, желание, которое невозможно удовлетворить. И эта ненасытность — самое страшное страдание, которое может быть. А ты живешь незаметной жизнью, приносишь людям пользу, работаешь в своей кузне, и ты — счастлив. Вам, простым людям, дано то, что мы философы ищем всю жизнь — формула счастливой жизни. Если бы ты знал, как я завидую тебе!

Этот монах был хорошим человеком, и я понимал, что ему просто нужно было перед кем-нибудь выговориться. Когда он напивался, я укладывал его на кровать, а сам спал на подстилке в углу.

— Я надеюсь, что окончу цепь своих перерождений, — сказал он однажды, — я надеюсь быть достойным этого. Я надеюсь, что я достоин свободы. Ведь рай — это свобода. По сути дела — это полная свобода. Но мы не достойны ее. Мы, как заключенные, которых держат в тюрьме, ведь, если нас выпустить на свободу, мы опять будем воровать, грабить, убивать. Мы должны закончить жизнь очищенными от грехов и быть достойными рая, вечной свободы. Но мы алчны, трусливы, мстительны, злы и сами строим свой ад. Если пустить нас в рай, мы и там будем алчны, злы и трусливы...

Монах приходил ко мне в гости много лет, и мы с ним, можно сказать, считались друзьями. Потом он умер и, надеюсь, попал в рай, о котором так мечтал, хотя, может быть, он опять родился где-то на земле...

Больше в моей тогдашней жизни не было ничего примечательного. Дни мои ходили один на другой, зимы сменялись веснами, за летом наступала осень, и в один зимний день я уснул, чтобы проснуться в новой человеческой жизни. Меня похоронили под тем же раскидистым деревом у холма, где была похоронена моя жена, и жаль, что та жизнь не стала для меня последним моим воплощением на земле. Я надеялся обрести покой, но смерть, как оказалось, еще нужно заслужить...

12

Пляска шамана

В следующей жизни я родился в Сибири, в крохотной бурятской деревне, в семье скотовода. Мой отец — булагат, а мама — эхиритка, и в нашем роду, вполне естественно, были шаманы. Вера у бурят того времени была очень проста и незатейлива — они поклонялись Вечному Синему Небу как престолу Всевышнего Создателя Вселенной, который вне нас, в нас и вокруг нас.

Шаманами были люди, которые умели получать энергию Неба или энергию Бога. Эта энергия действует в нас и дает жизнь, наряду с энергией, получаемой нами через воздух, солнечный свет, воду и пищу.

Во сне мне было явлено, что и я был когда-то шаманом. Это произошло поздно осенью. Наш дом стоял под сенью огромного вяза, и в ту осень его золотая листва обильно засыпала крышу и двор. Легкий ветерок шуршал за окном, как одинокий путник, и этот шорох сопровождал меня в сновидения.

Мне приснился костер, вокруг которого сидели люди. Я очень явственно чувствовал во сне, что танцую шаманский танец и повожу плечами, как будто разминаю их, чтобы энергия Неба протекла вниз по спине и охватила обратную сторону моего тела. Именно там мне не хватало этой энергии. И эта нехватка являлась причиной болезни моей спины и суставов. Я крутился и вертелся вокруг костра, яростно стуча в бубен, пока голова моя не закружилась совсем и я не упал в экстазе на землю. Люди вокруг костра смотрели на меня в благоговейном молчании. Я чувствовал запах дыма, прелого воздуха, травы и хвои, но вдруг увидел перед собой белый яркий мир и очнулся там, среди незнакомой местности. Получается, что я попал в столп света, который иногда спускается на землю с неба и который перенес меня в другую реальность.

Там мне встретился молодой человек, и, хотя я смотрел на него со стороны, я понимал, что это я сам. Откуда пришло ко мне это знание — не знаю. И тот «я» подошел ко мне идохнул на меня, словно на замороженное стекло. И я понял, какой будет моя следующая жизнь. И это знание ужаснуло меня. Я не хотел проживать свою следующую жизнь в том образе. Между тем, это был образ Ангела. Как шаман я знал, что мир состоит из пустого, или нулевого, мира, мира червей и низших организмов. Есть первичный мир — животный мир. И второй мир — мир людей. И как умные животные некоторые люди имеют возможность заглянуть в третий мир — мир ангелов и херувимов, в мир, закрытый для людей, в котором люди понимают не больше, чем самые умные животные в человеческом. Я понял, что тот я — Ангел, существо третьего мира. И я побывал в этом мире. И тут я очнулся у шаманского костра. Народ молча и с благоговейным страхом смотрел на меня. Они ждали от меня решения по какому-то важному для них вопросу, но я не только не знал ответа, я не знал и вопроса, на который нужно было получить ответ.

И тут я проснулся еще раз. На этот раз уже в реальном мире.

Что это было со мной? Был ли этот мир реальностью? Или это была фантазия? Но я был уверен, что был в реальном мире... Значит, этот мир живет в моей голове. В моей вот этой черепной коробке. Что это такое? Значит, вся Вселенная, звезды и Солнце тоже созданы моей фантазией? Не помню откуда, но я знаю одну сказку, написанную по библейскому сюжету. Бог создал мужчину и женщину и поселил их в раю. Они могли вкушать плоды со всех деревьев, только с одного дерева Бог запретил им есть. Немного позже змей-искуситель приполз к женщине и уговорил её съесть запретный плод. Женщина съела сама и уговорила своего мужа. И тут они услышали Бога, который осуждал их за этот первородный грех. И люди перестали видеть Бога и слышать Его, они перестали видеть красоту земли и не замечали красоты рая. Их жизнь стала тяжелой, в поте лица стали они добывать хлеб свой. А змей поселился у них в головах. Он управлял и управляет людьми, питается их злостью и страхами, и мешает им прийти к Богу. Эта сказка была мне близка. Просто я чувствовал, будто Змей управляет мной.

Потихоньку сон стал забываться. А потом опять приснился, и опять я был шаманом. Я ехал на лошади по весенней дороге, по растаявшему снегу и грязи и чем-то был чрезвычайно озабочен. Я так устал от этой заботы, что остановился у проталины, где росла невысокая береза, и стал молиться. Я молился Вечному Синему Небу, воздев к нему сложенные ладони, а глазами уставясь в землю. Лишь изредка я осмеливался поднять голову и посмотреть, как по синему небосводу плывут белые, пушистые, как барашки, облака. И вдруг я ощутил, что услышал ответ на свои молитвы. Это было непередаваемое чувство, я вдруг понял, что Бог вошел в моё сердце. Бог во мне победил змея.

С тех пор я стал регулярно стремиться к этому чувству, ведь оно давало мне счастье и покой. Я стал чувствовать Бога в шорохе листьев, в писке комара, в полете птицы и особенно в ночном звездном небе и днем при ярком солнце. Я стал удачлив в охоте, стал угадывать время посева и снятия урожая, почему-то знал, как лечить болезни, но, самое главное, я стал понимать людей.

Однажды ко мне принесли умирающего. Я привык делить людей на три категории: те, кто ближе к животному миру, обычные люди, и люди, которые близки к третьему миру, то есть почти Ангелы. Этого человека я посчитал чуть ли не представителем животного мира. Он был очень грязный, оборванный, и от него пахло прокисшей мочой. Я взял его за руку и попытался прощупать пульс. И в то же мгновение я понял, что держу руку Ангела. И он тоже почувствовал энергию, исходящую от меня, и даже чуть-чуть приоткрыл глаза. Я стал молиться и быстро достиг духовного экстаза, хотя для этого иногда требовалось очень много труда и времени. Мы оказались с ним около реки, которая была скорее видением, чем настоящей рекой. Теперь этот человек был в белой одежде. Мы не говорили с ним. Но я понял, что он устал от жизни в человеческом воплощении и просит меня оставить его в третьем мире. Между тем, я почему-то знал, что он должен был еще пожить на земле. Что мне было делать? И тут мне было передано, что для жизни в третьем мире ему необходимо закончить предназначенный путь на земле. Иначе он вернется туда опять. Я передал ему это. И опять очнулся в своей лачуге возле умирающего. Тот открыл глаза, посмотрел на меня. Мы поняли все без слов. Он стал быстро поправляться и вскоре выздоровел. Слух об этом исцелении прошел по всей округе. Теперь ко мне шли больные со всех окрестных деревень.

Они приходили ко мне за помощью, в том числе и безнадежно больные, умирающие люди. Я видел, что смерть была бы освобождением для них, перерождением, переходом в третий мир, или хотя бы перерождением на земле, но они с отчаянием молили меня о спасении их жизни и хватали меня за руки, как утопающий хватается за соломинку. Я не мог им помочь. Единственное, что я мог сделать, да и то далеко не всегда, это облегчить их страдания. Но разве мог я сказать им и их родственникам, что смерть будет лучшим исходом, ибо каждый из них считал смерть завершением жизни. Она была для них величайшей трагедией, горем, а я знал, что она является для умершего избавлением от страданий. Я смотрел на мир немного иначе, чем все эти люди. В видениях мне было дано знание, что люди, попадающие в третий мир после смерти, обретают знание жизни и смерти, тайны судьбы и кармы, но, главное, узнают Бога. Их вера превращается в знание.

Что наша душа, трансформированная полученными при жизни ранами, ссадинами, трагедиями и болями, вновь выпрямляется и становится чистой, как при сотворении. Эта чистая душа — источник нашего счастья.

После пробуждения я понял, что переживаю во сне чью-то жизнь. Тогда я еще не знал, что просто вспоминаю свою предыдущую жизнь. Реальность и иллюзии, сказки и действительность, земной и небесный миры слились во мне, и я даже не мог различить, что было реальностью, а что иллюзией или видением. Это была жизнь, где сон и явь были слиты воедино, и она пролетела, как мгновение. Лишь перед смертью я осознал, что почти не жил в реальности. Я умер от оспы, не дожив до пятидесяти лет.

Грешник

В своей следующей жизни я родился на берегах северного моря. С детства ко мне стали приходиться сны, где я был шаманом, жил в диком лесу и лечил людей. Я рассказал о снах своему другу, но тот не сдержал обещания хранить тайну и рассказал о ней всем соседским мальчишкам. И меня стали обзывать шаманом, и это очень меня обижало. Я дрался, но это прозвище так и прикипело ко мне.

Как ни странно, в моей памяти мало что осталось о детстве и юности в той жизни. Помню, что мои отец и мать работали на рыбоперерабатывающем комбинате, и я навсегда запомнил солоноватый запах моря, рыбы, водорослей. Мой отец очень любил деревья, и около нашего дома он разбил сад, где посадил много саженцев северных яблонь. Он ухаживал за саженцами, как за детьми, и мать часто ревниво говорила, что эти яблони ему дороже семьи. Со временем саженцы выросли в высокие деревья и стали давать урожай — небольшие, кисло-сладкие яблоки.

Однажды в молодости я влюбился в девушку по имени Инга и проводил много времени в саду, среди деревьев, мечтая о своей возлюбленной.

— Какая священная книга вдохнула в мир имя священное — Инга? Это имя с северных берегов, имя скандинавских богов, — думал я, и чуть было не написал свое первое стихотворение. В этом имени мне чудился предсмертный вздох воинов Одина, а сама она казалось мне ожившей богиней Вальхаллы.

Молнией в небе расчеркнуто — Инга,
Инга — гром гонга небесного ринга...

Однажды вечером я признался ей в любви, и она сказала мне, что, как ей кажется, она тоже любит меня...

Разве может что-нибудь сравниться со счастьем человека, душа которого наполнена Любовью? Это переполняющее душу счастье, когда сердце бьется в груди, как огромная птица, и когда тебе самому хочется летать! Душа, наполненная Любовью, летает и возносится на небеса, и летит обратно к земле, и опять ввысь, и поёт, и радуется, как в раю. И как хочется такой душе обнять весь мир...

Я был призван в армию, а когда вернулся, Инга сказала, что ошиблась в своей любви ко мне и просит простить меня... Она вышла замуж.

Разве есть что-нибудь, что сравнится с разочарованным сердцем? С душой, в которой умирает Любовь? Эта душа хочет и мечтает избавиться от несчастной Любви, но не может, и Любовь еще долго живет в такой душе. А если Любовь уходит, то душа плачет и грустит по ней. И то, что должно приносить великое счастье, приносит великую боль...

Несколько лет эта боль мучила меня, и я пытался заглушить ее алкоголем. Я уехал в далекий северный поселок, где жил, пил и работал, чтобы пить. Однажды я попытался бросить пить, пришел в церковь, помолился Богу и поклялся Ему, что больше не прикоснусь к рюмке. Но не удержался...

Мне встретилась одна женщина, которая была намного старше меня и тоже любила выпить, но при этом была довольно приятной на вид. Мы сняли с ней небольшой домик с печкой, занимались там любовными утехами и пили целыми днями. Мне казалось, что я даже полюбил её. Но однажды, после долгого запоя, я увидел, что вместо неё передо мной сидит чёрт. Он был немного необычен, с рожками, но не ужасен...

— Кто ты такой? — спросил я. — И как ты сюда попал?

— Я твой гость, — ответил он, — и, знаешь, я могу проходить сквозь стены. В отличие от тебя.

Я выпил в надежде, что чёрт исчезнет, но тот оставался на месте. Он сидел передо мной и нагло усмехаясь, говорил, что убьет мою мать, соблазнит мою жену и утащит мою бутылку водки. Последняя угроза сильнее всего возмутила меня. Я схватил нож и ударил его..., чёрт мгновенно исчез, но вместо него я увидел, что ударил свою женщину. Ударил прямо в сердце! И она умерла на моих руках... Все моления и крики, чтобы она ожила, были напрасны... Не знаю, сколько я просидел, обнимая её.

Я словно потерял рассудок, вышел на улицу, в эту звездную ночь...

Я предал Бога, и Он жестоко наказал меня. Это было такое невыносимое одиночество, когда не только люди, но и Бог отвернулись от тебя. И ты остался один, презираем всеми, но больше всего презираем самим собой.

Я шел по улице, и в руках у меня было тридцать сребреников.

Что Петр с его жалким троекратным отречением? И с его жалким раскаянием? Что плохого он сделал? Иуда, Иуда — вот моё настоящее имя! Я сделал гораздо более страшный грех, я убил свою жену, предал Бога и привел воинов, которые подвергли Его ужасной и мучительной смерти.

Я вернулся в домик, увидел её тело, взял со стола нож и порезал себе вены, надеясь никогда больше ничего не видеть и не слышать, надеясь убежать от всего в вечное спасительное небытие...

* * *

16

Вокруг меня плыли млечные облака, звезды, туманности, планеты, мелькали метеориты и как видения появлялись то мальчик с берегов Ганга, то какой-то музыкант, играющий на мандолине, то безумный кузнец, любящий сошедшую с ума женщину. Но чаще всего появлялся шаман, стучащий в бубен, смеющийся и грозящий мне пальцем... Черная дыра поглощала меня, и мне было хорошо падать в эту звездную, спокойную темноту.

И тут кто-то сказал: «Как он?»

Голос проник в этот звездный мир как землетрясение, и Вселенная сначала дала трещину, а потом стала рушиться, как стены Помпеи, я полетел с неба вниз, в реальный мир, с его болью, тоской и ужасом.

Я попытался вернуться в забытье, но реальность заполнила мой мир, как вода заполняет каюты тонущего корабля, и я открыл глаза. И сразу почувствовал страшную сухость и жажду во рту, перемешанную с болью.

— Пить, пить, — попросил я.

Медбрат позвал врача, и я услышал их короткий диалог:

— Он просит пить...

— Мало ли что он просит. Это нелюдь.

— А что он сделал?

— Он зарезал женщину.

Реальность полностью вернулась ко мне. Я убил свою любимую женщину. Бедная, бедная моя жена... Как и почему я не сумел умереть? Медбрат все-таки принес воды в пластиковой бутылке и лил мне её на лицо сверху, как будто поливал клумбу. И я пытался поймать эту струю, которую он лил, и пил, захлебываясь, и вода разливалась по моему лицу, по бинтам, по постели.

Моя жажда была утолена. Но отчаяние и боль опять захватили меня. Я лежал на кровати, оставленный и презираемый всеми, даже своими родителями, и хотел только одного — смерти. И тут, не знаю почему, я вспомнил про Бога и начал молиться. Я взмолился, как со дна колодца, как со дна океана, не надеясь ни на прощение, ни на облегчение, ни на милость, а просто потому что мне не к кому было больше обращаться. И со мною случилось чудо.

Небеса словно открылись, и оттуда медленно полился на меня золотой и серебристый свет, который пронзил всё моё существо. Он обнял меня своей Милостью и Любовью. И я чуть не задохнулся от этой Любви. Тело моё билось, словно в судорогах, но потом успокоилось. Бог простил мне все мои преступления.

* * *

За убийство меня приговорили к шестнадцати годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. В арестантском вагоне меня увезли в Сибирь, в сторону мест обитания моих предков. Мы жили и работали в ИТК (исправительно-трудовой колонии) №6 в г. Н. возле Енисея. Работали мы в промзоне, на пилораме, а жили в огромных бараках. Вскоре я привык к правилам зоны, к ее воровским законам, к быту и к своей шконке, то есть кровати.

В нашем бараке моё внимание привлек высокий, сухощавый пожилой человек, чьё место находилось неподалеку от меня. Среди всего зла, борьбы и жестокости,

которые нас окружали, он сохранял какое-то внутреннее спокойствие и невозмутимость. Он был мягок в своих движениях, и во всех его действиях, заваривал ли он чай, ходил на работу или одевался, чувствовался какой-то внутренний мир, бывший в этом человеке и в его душе. И, казалось, другие заключенные словно не замечали его. Даже когда в бараке случались драки или разборки, он сохранял прежнее спокойствие, и, если разборки шли после отбоя, мог спокойно улечься спать. Ходили слухи, что он был другом каких-то уважаемых воров, которые оказывают ему покровительство, но точно этого никто не знал. Он был далек, как от блатных, так и от обычных зеков. Почему-то я чувствовал большое расположение к этому человеку, и мне очень хотелось с ним познакомиться.

Однажды у меня возникла большая проблема — один из новоприбывших заключенных захотел спать на моей кровати. А я не собирался отдавать ему свое место. Дело шло к большой драке. Неожиданно этот пожилой человек подошел к нам и сказал новоприбывшему всего одно слово:

— Исчез!

И тот сразу ушел, забыв про свои притязания.

После этого я познакомился со своим спасителем. Он оказался верующим и быстро стал моим духовным Наставником. Мы говорили обо всем понемногу, о жизни на зоне и на воле, я рассказывал ему о себе, о своей жизни, родителях, любви. Только о чудесном прощении себя Богом не стал говорить, испугался, что он сочтет меня сумасшедшим. Особенно заинтересовали его мои шаманские сны и то, как они влияли на меня.

— Твои шаманские сны и воспоминания, — сказал он, — как и всё, что передано тебе от твоих предков, записано в коре твоего мозга, а это всегда ум. А наш ум не приносит нам счастья. Наш ум заменяет нам душу, и люди даже не подозревают об этом. Вот и тебе он не принес счастья.

— А как же определить, душа это или ум? — спросил я.

— Когда тебе плохо или больно, то почти всегда страдает душа. Наши мозги эгоистичны, они почти всегда найдут оправдание, а душа не ищет, она просто страдает. Наши мозги, наш ум часто враги нам, они заставляют нас жить по понятиям, по своим воровским законам, делать всё по уму, как нас научили. А душа всегда даёт нам чистой.

Он немного помолчал и продолжил:

— Как ни странно, наши мозги бывают подлы по отношению к нам. Они заставляют нас бояться, когда нет повода, они приносят нам страх, злость, они указывают нам на то, чего нет. А мы, по своим законам, отвечаем на страх агрессией и злостью. Но душа наша, несмотря на всю её слабость и незаметность, все-таки сильнее нашего ума, потому что она соединена с Богом, а наш ум прикреплен к земле. И мы, грешники, которые изломали свои и чужие судьбы так, что мама не горюй, мы особенно страдаем от мук своей совести! Единственное, что мы можем сделать, это возлюбить Бога. Ведь сказано в Библии, возлюби Бога всей душою своею...

Это люди, которые живут в радости и достатке, могут позволить себе рассуждать о Боге, любить Его своим разумом, идти к Нему интеллектуальным путём. А мы, грешники, от которых когда-то отказалось Небо и отказалась земля, мы, губители человеческих душ, мы не можем позволить себе этого. Мы должны стоять на коленях и отдать Богу душу уже сейчас, на земле. Потому что иначе мы не вынесем наших душевных страданий, они попросту убьют нас...

— Знаешь, — сказал мне однажды Наставник, — я написал небольшую сказку о душе. Давай, я тебе её расскажу, хоть и не знаю, чем она закончится.

— Мне очень интересно, — ответил я.

Душа

18

Жила-была Живая Душа. Она жила в раю, где росли высокие деревья, росли цветы, жила среди других душ, которым принадлежала вся Вселенная. Все они были прекрасны и бессмертны, и похожи друг на друга, но были все-таки немного разными. Одна была чуточку возвышенной, другая — легкомысленней, третья — серьезней, а четвертая — веселее. Только Бог решал, какая из них попадет к какому человеку, но каждая из них была любима Творцом, как родная дочь. Каждой из них предстояло соединиться с младенцем в утробе матери, стать душой этого человека и прожить с ним его земную жизнь. Если случалось, что младенец не рождался или умирал сразу после рождения, его душа возвращалась в райский сад, где обретала вечное счастье и гармонию. Если человек рождался, жил и умирал, то душа проходила с ним весь его жизненный путь, каким бы долгим и трудным он не был. Часто люди забывали про свои души, так как жили только своим умом и телом, всем тем, что было передано им от своих предков. Они росли, жили, воспринимали этот мир, и вместе с ними росла и выросла их душа.

Когда люди жили только умом и телом, вся их жизнь состояла только из решения повседневных забот и проблем, насыщения и убажания тела, развлечения и развития своего ума. Если люди совершали плохие поступки или даже преступления, их душа плакала, ведь она понимала, что принесла кому-то неприятности, горе, и что теперь ей придется жить с этим проступком или преступлением. Часто душа плакала, когда кто-то обижал или оскорблял этого человека, и тогда люди говорили о себе:

— Моя душа болит...

Некоторые души, забытые страхами, злостью, болью или тревогами, жили в человеке незаметно, спрятавшись, как испуганный ребенок в углу. Часто, если человек был очень сильным, умным и счастливым, и ему было хорошо, он не думал ни о других, ни о своей душе. Таких людей иногда называли бездушными. Но если с человеком, каким бы он ни был, что-то происходило, ему становилось нестерпимо больно, и он обращался к Богу, то душа, услышав зов Своего Духа-Отца, выходила к нему навстречу, и плача рассказывала Ему о своих болях и бедах, и жаловалась на свою судьбу. И Бог успокаивал и поддерживал такую душу.

И вот однажды Живая Душа воплотилась в маленьком мальчике, который был очень чутким и обидчивым. Он родился у строгих родителей, но с детства ему не давала покоя одна мысль — он чем-то отличался от других. И он на самом деле отличался от других. В его роду были кузнецы, воины, пастухи-табунщики, но, самое главное, в его роду были шаманы. Его душа была возвышенной и тонкой, но мир, в который он попал, был довольно жесток и безразличен. Чтобы жить и быть, как все, мальчик выработал в себе силу, приобрел знания, развил свой ум и тело, и сам был жестоким по отношению к другим. Когда его душа противилась жестокостям, этому мальчику становилось плохо, но ум успокаивал его, говоря, что он должен быть сильным, умным, должен уметь себя защитить. И смеялся над чужой слабостью. Но душа его все равно болела. И чтобы успокоить её, он стал употреблять алкоголь, насыщая Змея в своей голове. И ему ненадолго становилось легче, но потом

становилось ещё хуже, а он всё пил и пил, чтобы успокоиться. Он пытался стать еще сильнее, еще хитрее и изворотливее, еще более жестоким и твердым, чтобы выжить в этом мире, и в конце концов сделал так, что душа его спряталась далеко-далеко в глубинах сердца, за заслонившим ее большим разумом.

Но однажды, когда он много дней пил, Змей почти взял его душу. Вместо своей женщины этот парень увидел перед собой чёрта и ударил этого чёрта ножом. Он хотел убить чёрта, а убил женщину, с который жил последнее время. А потом он пытался покончить с собой. Его спасли.

И уже в больнице, привязанный к кровати, он взмолился к Богу из последних своих сил. И его душа, вырвавшись наконец на свободу, просила Создателя о милости, прощении и любви. Хотя, как он думал, он не достоин ни милости, ни прощения, ни любви. И тут загнанная его душа словно омылась золотым дождем с неба, золотым дождем Бога, серебряными лучами Мира, и он обрёл успокоение...

— Откуда Вы это знаете? — потрясенный, не выдержал я, — ведь я никому об этом не рассказывал.

— А почему ты решил, что я рассказывал о тебе? — ответил наставник.

— Разве с Вами тоже было такое?

— Ты думаешь, ты зря почувствовал симпатию ко мне? Это наши души почувствовали друг друга, они потянулись друг к другу среди жестокости и мрака этой зоны. Потому что наши души живы еще. А у других они забиты или почти мертвы. Когда родственные души встречаются, они радуются, как радуются дети, и таким людям бывает от этого хорошо. Поэтому нам так легко и свободно друг с другом. Хотя ты прав, я рассказал твою историю, но она чем-то схожа с моей...

— Расскажите, если можно? — попросил я.

— В молодости я был очень дерзким и сильным. С детства я мечтал быть уважаемым авторитетом и с упорством шел к этому через унижение других и преступления. В детстве мой товарищ наколот мне на плече якорь, и все стали называть меня Матрос. В моем городе я был одним из самых известных авторитетов. И всё это несмотря на то, что душа моя была чуткой и остро чувствующей, тянувшейся к любви. Я полюбил одну женщину, которая имела довольно грязное прошлое, но которая ради меня оставила все свои дела. Она была очень красива, и мужчины всегда обращали на неё внимание. В общем, она недолго хранила мне верность. Через своих подельников я узнал, что она изменила мне. И тогда мой ум приказал мне отомстить. Такими были наши понятия, наши законы. И хотя моя душа робко шептала мне пощадить её, я ничего не слушал. Злоба и ревность омрачили мое сердце. И если ты совершил своё преступление, приняв свою женщину за черта, то я убивал свою в здравом уме. Но от этого моя боль была нестерпимее. Я ушел из своей банды и жил в одиночестве. Я только и делал, что пил. И однажды так же, как и ты, увидел перед собой чёрта. Только одет он был в цивильный костюм и имел с собой трость. И он предложил мне продать ему свою душу.

— Твоя душа всё равно будет мучиться, — сказал он, — и будет судима за убийство. А так ты поживешь, как король.

И что ты думаешь? Я возмутился на это предложение и ударил торговца ножом, а сам упал в беспамятстве. А утром оказалось, что я убил своего соседа, который пришел ко мне и с которым мы пили несколько дней. Как и ты, я пытался покончить

с собой, но рука моя дрогнула в последний момент. И однажды в камере одиночке моя душа проснулась и возопила к Богу с просьбой о прощении. Как и ты, я был омыт золотым светом, и счастье переполнило меня, несмотря на моё положение. И злой и тревожный мир перестал существовать для меня. И с тех пор, хотя живу я среди воров и убийц, я сохраняю свою душу в целости и сохранности, чтобы ответить перед Богом за его любимую дочь...

20

* * *

К моему сожалению, моего старшего товарища Наставника освободили через четыре года по УДО. Перед выходом на волю он сказал мне:

— Запомни, что только наша душа, когда она соединена с Богом, Вселенной и людьми, может дать нам счастье. Береги себя.

Долгие годы заключения я вспоминал его. А потом получил письмо.

«К сожалению, моя болезнь догнала меня на воле. Мой рак активизировался, и врачи говорят, что я долго не протяну. И я хотел бы сказать тебе конец моей сказки...

Тот мальчик, который стал взрослым и претерпел много горя и неудач, стал наконец-то счастливым. И вскоре он уйдет туда, где уже не будет ни зла, ни подлости и предательства, ни измены и страха, где будет царствовать одна Великая Любовь...

Живи, а потом наши души встретятся и будут рады этой встрече не меньше, чем тогда, в тюрьме, где они потянулись друг к другу, и думаю, что этой дружбе не будет конца...»

Милая девочка

Через несколько лет и я был освобожден по УДО. Мои родители умерли, и поздней холодной осенью я вернулся в пустой отчий дом. Сад выглядел пустым, и деревья стояли одинокие, как сироты. К сожалению, я не удержался и опять начал пить. Местные пьяницы с радостью стали приходить ко мне в гости. И ко мне опять стали приходить видения. Однажды я увидел мать и женщину, которую я убил, они слились и стали одной женщиной, и эта женщина стояла в комнате, лицом к стене. Иногда эта женщина поворачивалась ко мне, и я, обезумев от страха, выбегал в сад на свежий воздух.

В один из вечеров я очнулся после попойки в каком-то бараке, и в коридоре увидел маленькую девочку шести или семи лет. Я подумал, что это белая горячка вернулась ко мне.

— Ты кто? — спросил я. — Почему ты здесь?

— Меня папа здесь забыл, а я уснула, — ответила девочка и назвала свои имя и фамилию, которые я забыл.

— Иди домой, лучше уходи от меня, — строго сказал я, думая, что у меня белая горячка.

Наверное, я выглядел очень страшно, так как девочка с удивлением и страхом смотрела на меня. Мы смотрели друг на друга всего несколько секунд, но я навсегда запомнил эти детские глаза, которые тихо наполнялись слезами и страхом.

В этот момент в прихожей раздались шум и стук каблуков, и в дом ворвалась взволнованная женщина.

— Доченька, — воскликнула она, увидев девочку.

— Мама! — закричала девочка и кинулась ей в объятия.

Я попытался что-то объяснить этой женщине, но она ничего не хотела слышать, забрала девочку и ушла.

— Чтобы вы все сдохли! — тихо говорила она.

Я ушел домой, закрыл за собой ворота, но очень скоро в них опять постучали. Это был отец девочки, мой собутыльник. Он тоже несколько лет сидел на зоне, и мы легко находили с ним темы для разговоров.

— Шаман, ты зачем мою дочку испугал? — спросил он.

— Я ее не пугал, Гриша, — ответил я.

— Она была очень испуганной, — не согласился Гриша, — ты бы мог ее успокоить.

— Наверное, мог, — согласился я.

— Мог, но не захотел, — констатировал Гриша.

Он выхватил из-за пазухи шило и резко ткнул меня в бок.

— Ну и держи тогда! — сказал он.

И ушел. Я закрыл ворота и, держась за рану, прошел в сад. Звезды трепетали в ночном небе, как листья. Пахло росой и пылью пересохшей земли. Я подошел к одному из деревьев, которое было поранено топором моей матери и медленно засыхало. Я потрогал ствол и почувствовал, как по нему течет свежая, теплая кровь. Эта кровь стекала прямо с неба, сквозь верхушку дерева, прямо ко мне на руки. И все руки мои были в крови.

— Милая девочка, — подумал я тогда, — и почему я не успокоил её?

Звезды трепетали в ночном небе, как листья. Становилось все прохладнее и прохладнее, и вскоре я дрожал от холода. Мне было не больно, я просто лег на землю среди сада и медленно засыпал. И вдруг мне стало тепло. Мне казалось, что я когда-то так же смотрел на звезды, мне чудились берега далекой темной реки, и одна из звезд казалась мне душой моей матери. Мне чудилось, что я лечу в ночное небо под песню, которую я никогда не слышал, но которую часто пела моя жена из моей предыдущей жизни. Мне чудилось прекрасное озеро, которое я встретил на своем пути, чудился какой-то бородатый человек, который почему-то был моим сыном.

И там, в саду, в свои предсмертные мгновения, я вдруг ощутил всю огромность бесконечной Вселенной со всеми ее планетами, звездами, солнцами, созвездиями, ощутил то, что внутри меня тоже Вселенная, и моя внутренняя Вселенная — это тоже настоящая Вселенная, только я никогда не чувствовал и не понимал этого, так как был занят своими ежедневными делами и заботами.

И я захотел жить, чувствовать, ощущать этот мир, вдыхать воздух, видеть, слышать, я открыл глаза, попытался встать, но силы покинули меня. Я упал, впал в забытие и умер. Так несуразно и глупо закончилась моя очень короткая и последняя жизнь на земле.

* * *

Жизнь — это странная штука, она даруется не за какие-то заслуги, но мы переживаем то, что все равно обязаны пережить — любовь и разочарование, счастье и боль, страх и лишения.

Этот мир гораздо больше жизни. Смерть — это только продолжение жизни. Мы никогда не умрем навсегда. А жизнь после смерти странна вдвойне. Она становится понятна только, если понять ее смысл и предназначение. Как, впрочем, и многое другое. Как я узнал, после смерти нет времени. Мы умираем, проходит мгновение,

мы переходим на ту сторону Вечной жизни — и оказывается, что за это мгновение на Земле прошли годы, столетия, тысячелетия и сама жизнь на Земле уже закончилась. Мы узнаем, что все земные эпохи и периоды уже прошли, что человеческая история завершилась, как до нашего рождения прошла Вечность, которую мы не ощущали. И можно сказать, что все умершие уже далеко в будущем, ведь для них эта секунда уже прошла, а мы все живем и живем в настоящем. Человек думает о многом и заботится о многом, хотя ему нужно заботиться только о жизни и смерти, о тех мгновениях, когда он перейдет эту черту. Наша земная жизнь — только порог для нашей Вечной Жизни, для нас важно только, какими мы переступим этот порог. Может быть, Бог дает нам то, во что мы верим.

Но в своей последней жизни, я — к своему огромному и страшному сожалению — переступил этот порог в состоянии ужасной тоски и ужасного разочарования. И мне не дано было перейти черту — я воплотился в дерево, чтобы переживать и переживать события своей земной жизни. В первое время я не мог понять, что со мной и что я делаю в этой полудреме. Я не испытываю ни страданий, ни боли, ни беспокойства. Бог, по своей великой милости, не осудил меня, а дал мне возможность переживать свои прошлые жизни и искупить свою вину этим переживанием. Воспоминания о моих прошлых жизнях текут во мне, как Млечный Путь по Вселенной.

Передо мной все стоит и стоит лицо той маленькой, милой девочки, которую я испугал незадолго до своей смерти. Я надеюсь, что она забыла меня и была счастлива в своей взрослой жизни. Ад — это не место, которое создано Богом для нашего наказания, Ад — то место, где мы живем с тем, что мы натворили, и где нет Бога.

Время почти перестало существовать для меня, но я чувствую его по своим далеким и неясным ощущениям в разные времена года. Вот и сейчас я знаю, что лето прошло и птицы улетели на юг. Дни становятся все короче и короче, и листва с моих веток скоро совсем опадет, наступят холода, и я усну на долгую-долгую зиму. Сон мой будет глубок и печален. Но весной, под теплым солнцем, во мне опять зашевелиятся и потекут соки, набухнут и распустятся почки, опять зашумит листва, и птицы на моих ветках опять запоют свои песни. И так будет длиться много лет. Но я верю, что когда-нибудь моя древесная плоть умрет, и душа моя избавится от этих бесконечных воспоминаний и обретет покой там, где уже не будет никаких страданий и никаких воспоминаний.

Сергей Бирюков



Бирюков Сергей Евгеньевич (р. 1950) — поэт, филолог, культуролог, исследователь русского и мирового авангарда, основатель и президент Международной Академии Зауми. Лауреат Всероссийской премии имени Ф. И. Тютчева и других литературных и научных премий. Автор более 20-ти поэтических книг. Стихи Сергея Бирюкова переведены на 35 языков. Живет и работает в Москве.

Стихи над Байкалом

В облаке

Год 140-летия Велимира Хлебникова

Хлебников пишет письмо двум японцам
он призывает открыть оконца
он призывает расширить околицу
он призывает построить дом
состоящий из волокон
он призывает
открыть новую эру
великий азийский союз
он росчерком пера
прекращает войны
он времени ловит волны
и ему откликаются японцы
из страны солнца
он читает на облаке
их письма
где пересекаются времена
как параллельные Лобачевского
ему пишут — Велимир-сан
ты приходишь сам
ты открываешь пути

по которым нам вместе идти
ты созидатель тенекниг
ты словно тигр тих
перед прыжком
ты аум
переходящий в ОМ
АУМ----ОММММММММММММ

И все-таки немецкая философия

I
...и все-таки немецкая философия
ни больше ни меньше
но
никто не верит Канту
никто не верит Гегелю
разве кто-то говорит
как там у Канта
как там у Гегеля
что сказал Шлегель
по этому поводу
последнее слово Шопенгауэра
экзерсисы Ницше
неизбежно —
Шпенглер¹

II
...мне снился Шпенглер —
выглядел не очень,
заметно было — озабочен
он предсказанием своим
заката
той части света,
что когда-то
была Европой...
И вдруг оборотилась, опа (!)
совсем другую стороной.
Ой!
Herr Doktor Spengler,
не молчите!
Лишь вы наверно различите,
истоки
что ожидает нас в потоке
идущей из глубин
культуры девять
и скажете, что делать...
Oder?²

¹ Освальд Шпенглер (1880–1936) — немецкий философ, автор знаменитой книги «Закат Европы» (Т. 1 — 1918, Т. 2. — 1922).

² Oder — или (нем.)

Мимолетное

Луара пересохла
Рейн обмелел
ледник в Швейцарии
растаял
не до шуток
правители окрестных сел
уперли взгляды в небеса
замедленно
считают уток
а утки улетают
в тот край
где ледники пока
не тают
и реки воды полные
несут
но это там
не тут...

2022

Москва — Пекин

Москва — Пекин
летим-летим
Бейджин Бейджин
бежим-бежим
в метро просторно
и светло
как будто небо
подошло
как будто солнце
мимо туч
бросает
в подземелье луч
а это свет идет
от лиц
и речь
как будто
пенье птиц
как будто
шелестенье
трав
особый строй
особый нрав
Москва — Пекин
летим-летим
Бейджин Бейджин
бежим-бежим
я вижу здесь
Пекина лик —
многовелик!

2019

Аэропорт. Остановка в пути

Люди в аэропортах —
это вьючные животные.
Мы
верблюды верблюдицы
и ослы и ослицы
(если угодно)
из прежних времён
в сейчас перемещённые
даже больная девочка
на коляске
увешанной сумками
а прекрасные дамы в парандже
их тоже не миновала
судьба верблюдиц
или кобылиц
несущих поклажу
к Check-in
о всемогущий Check-in
о вездесущая регистрация
о бесконечное сканирование
лица-взгляда-пальцев
всего тела

2023

Прекрасное недалёко

на границе Австрии и Словакии
где когда-то в лесу
раздааавались голоса птиц
неожиданно вырос
новый лес —
из желез
и крутящихся вместо листвы
лопастей
из твердых пластмасс

о ликование масс!

И тела птиц
сбитых влёт
лопастями
лежащие
у
подножий железных деревьев
вестью апокалипсиса

2021–2023

Прекрасное недалёко 2

от коров слишком
много отходов
давайте уничтожим
стада

и уничтожили

от свиней слишком
много отходов
давайте уничтожим
стада

и уничтожили

от овец слишком
много отходов
давайте уничтожим
овец
(а заодно коз)

и уничтожили

от собак кошек
кроликов
от индюшек
гусей уток
кур
от всей домашней живности
а также
обитателей лесов и полей
а также
вольных птиц
и
наконец
от человека
слишком
много отходов

и...

2023

Глагольное

27

Бесконечно можно писать
на русском стихи
на границе стихий
рифмовать
бесконечно страдать
уповать

жечь глаголом сердца
до конца
бесконечно кружить
в клетке белкой
в этой теме не мелкой
предназначенный жить
бесконечно пространство встречать
в неожиданный час
отмеряя от нас

январь. 2024

Стихи над Байкалом

И звучали стихи
над Байкалом
восходили
облаком-паром
отражением вод
на небе
повторя были
и небыль
славно-моря
О великий
Байгал-далай
все народы
объединяй!

Юлия Бочарова



Бочарова Юлия Александровна. Год и место рождения: 1978, Москва. Образование: ВГИК, специальность «Драматургия». Пишет сценарии, прозу и пьесы. Победитель и финалист конкурсов: «Монолит» (2019), «Поколение 21» Гильдии драматургов России (2021), Международный литературный Волошинский конкурс (2021, 2022), «Знание. Театр» (2022) и др. Печаталась в журналах: «Москва», «Новый свет», «45-я параллель», «Литература», «Египетские ночи» (спецпроект Журнального зала), «Парус», «Дактиль», «Вторник».

Третий глаз Ивана Саввича

рассказ

Иван Саввич Чугунков был обычным пенсионером. Среднее для его возраста здоровье (как он сам говорил, проснулся — и слава богу), однокомнатная квартира в хрущёвке на краю города, за плечами 40 лет стажа научным сотрудником в НИИ физики и 12 лет пенсии, умеренные политические взгляды, а в настоящем — полная свобода, бессонница и одиночество. Не то чтобы он был совсем одинок, но дети — сын и дочь — жили своими семьями и навещали старика лишь изредка, будучи погружёнными в свои ежедневные заботы. Жена Ивана Саввича умерла год назад. Первое время дочь Маша звала его жить с ними: и ему веселее, и квартиру можно сдавать, получая дополнительный к пенсии доход. Старик отказался от предложения дочери, чем, кажется, обидел её — и продолжил «коптить небо» в тех местах, к которым прикипел сердцем и которые любила его жена.

Наступила весна. Тротуары были залиты ручьями от таявших сугробов, плитка на дорожках в парке поднялась и раздвинулась от взбухшей под ней земли, на подсохших проталинах зажелтели первые цветы мать-и-мачехи.

Иван Саввич ходил с утра в поликлинику: уже несколько дней у него болела голова, причину не удавалось найти, — а на обратном пути пошёл через парк. Ему хотелось после долгой зимы подышать наконец свежим воздухом и погреться на солнце, которое щедро светило и обещало обновление жизни. Чугунков расстегнул верхнюю часть молнии на куртке и развязал шарф — и вдруг почувствовал новый приступ. Лоб распирало изнутри. Иван Саввич достал таблетку от давления и проглотил.

— Вам плохо? — спросила его молодая мама с коляской.

— Всё хорошо, спасибо, — ответил старик, вздохнул и пошёл домой.

Весь день старика что-то тревожило — он не мог понять, что именно. Казалось, он стоял на пороге чего-то важного, что полностью изменит жизнь. Иван Саввич позвонил дочери, узнал её новости: внук получил «5» по рисованию, летом они поедут в Карелию — а так всё отлично, как всегда. Сына Чугунков не стал беспокоить: тот отсыпался после ночной смены в «Метрострое». Написать бы ему в ватсап, чтобы перезвонил — но старик не дружил с техникой и предпочитал разговоры по старинке.

Ночью Иван Саввич, как обычно, не спал. Он лежал в кровати и думал о жизни, о том, зачем он существует на свете, и почему окружающие его люди кажутся несчастными. Дочь всегда уверяет, что у неё всё отлично — а у самой глаза грустные. Приходит к нему, убирается, а потом засыпает на диванчике, словно у себя дома ей некогда отдохнуть. На разговоры не остаётся времени. Иван Саввич убирался сам, чтобы освободить дочь от хлопот — но та ругалась, что он делает не так — и передёвывала. Сын Слава работал сутки через двое, в выходные дни спал, пил и смотрел сериалы, а в перерывах гонял на мотоцикле по весенним улицам. Он был почти в разводе, но продолжал жить в одной квартире с семьёй, пока они не нашли хороший вариант разъезда. Что с ним не так? Хороший парень, подавал надежды в точных науках, всегда помогал родителям. Вроде, не злой и не глупый. Почему его жизнь не сложилась?

Иван Саввич задремал под утро, а проснулся от яркого солнечного света, который бил ему в глаза. Он забыл с вечера зашторить окно. Старик встал и, не до конца ещё проснувшись, побрёл в ванную умываться и чистить зубы. Чугунков включил воду в кране и провёл ладонью по щеке, решив, что седую щетину надо бы сбрить, пока лицо не загорело наполовину, только сверху. Иван Саввич открыл глаза, посмотрел в зеркало — и отшатнулся. Вода из крана попала на кафель, старик поскользнулся и упал.

— Не может быть, — сказал он сам себе. — Это спросонья.

Он поднялся, потирая ушибленный локоть, и снова посмотрел в зеркало. На его лбу красовался новый глаз, который двигался синхронно с двумя его обычными глазами, но недоуменно хлопал, разглядывая старика.

— Чёрт те что.

Чугунков потрогал глаз — стало больно, и глаз зажмурился.

В поликлинике, куда Чугунков немедленно побежал без записи, его осмотрел офтальмолог. Потом позвали хирурга, ортопеда, невролога, медсестёр. В конце концов сбежалась вся поликлиника — поглазеть на диковинку. Никто не пытался помочь старику. Его фотографировали на телефоны, просили похлопать глазом, посмотреть туда и сюда, напирали толпой, тыкали в глаз пальцами, желая убедиться, что тот настоящий. Иван Саввич отпросился в туалет и сбежал. Ему не хотелось ощущать себя, как в цирке уродцев.

Придя домой, пенсионер обвязал голову бинтом и стал думать, что же с ним случилось. Само по себе появление третьего глаза было удивительным, но ещё больше старика поразило то, что именно этот глаз видел. На его сетчатке запечатлевалась вся правда о людях. Потаённые желания, страхи, пороки и достоинства — всё, что окружающие скрывали от других, стало для Ивана Саввича кристально ясным. Новая способность испугала старика: слишком уж многое он увидел в толпе врачей.

Пенсионер отправился на кухню и стал готовить яичницу: ему хотелось отвлечься. Да и позавтракать он забыл — не до того было утром — так что желудок уже громко заявлял о своих правах недовольным урчанием.

Яичница шкворчала на сковородке. Третий глаз чесался под повязкой, и старик её снял. Глаз с любопытством оглядывал всё вокруг. Иван Саввич вдруг увидел, куда они с женой ещё в 90-х спрятали заначку, забыв о ней — и нашёл пачку не деноминированных рублей. На кухне он увидел, что хранится в коробках, лежащих на верхних ящиках.

— А может, и ничего, — сказал старик; он привык разговаривать сам с собой. — Жить можно.

Поскольку Чугунков был человеком науки, любопытство пересилило его скепсис, и он отправился на улицу — изучать новый дар. С собой пенсионер взял блокнот для записей. Лоб он прикрыл капюшоном куртки, чтобы не вызывать нездоровый ажиотаж среди граждан.

Во дворе было пусто — лишь один подросток гулял с собакой. Парень был задумчив и ни на что не реагировал, глядя в одну точку. Может, у него проблемы? Чугунков посмотрел на мальчика третьим глазом и увидел, что тот ни о чём не думает и не беспокоится, а слушает в наушниках песню группы «Крематорий».

Иван Саввич отправился дальше — ему надо было зайти на рынок, давно хотелось свежих бакинских помидоров.

— Вот эти, пожалуйста, — сказал он продавщице в белой шапочке.

— Для вас — как всегда, самые лучшие, — улыбнулась она и положила на весы выбранные покупателем краснощёкие томаты. Пенсионер приподнял капюшон и взглянул на женщину. У неё всё было хорошо: спокойно, ровно, безоблачно. Она чувствовала себя уверенной и никуда не спешила.

— Триста пятьдесят, — сказала она и сняла пакет с весов, кокетливо улыбаясь.

В этот момент Иван Саввич увидел, что она его обманывает.

— Вы ошиблись, — сказал Чугунков, всё ещё надеясь, что третий глаз с непривычки его подводит.

— С чего это вы взяли? — притворно удивилась она. — Начинается.

Пенсионер стоял против света, и продавщице не было видно, что у него на лбу. Третий глаз отчётливо видел её раздражение, скрываемое за слащавой улыбкой. К прилавку подошли двое покупателей, пощупали разложенные огурцы и редис.

— Давайте, не задерживайте очередь.

— Может, проверим ещё раз? — попросил старик.

— Совсем уже офигели! Я вас обманывала когда-нибудь?!

Иван Саввич опустил капюшон на лоб и ушёл, не взяв помидоры. Продавщица не ошиблась. Она врала и знала это. От расстройства пенсионер забыл написать в блокнот результат наблюдений.

Чугунков отправился в собес: его уже три недели гоняли за дополнительными «бумажками» для оформления бесплатной путёвки в Минеральные Воды. Взглянув на сотрудницу в окошке третьим глазом, пенсионер ахнул. Он вдруг увидел, что без этих «бумажек» можно обойтись — просто сотрудница ленива и некомпетентна, зря гоняет его, не желая читать новые нормативные документы и спрашивать руководство. Иван Саввич сказал ей это — и тут же нарвался на хамство.

— Мы для вас! А они ходят жалуются! Забесплатно им дают, нет бы...

Сотрудница хотела продолжить гневную речь, но увидела глаз на лбу пенсионера — и упала в обморок.

— Что случилось? — спросил кто-то из очереди.

— Старик вздорный, женщину ударил! Я видел! — ответили ему.

Кто-то позвонил в полицию. Иван Саввич ушёл, пока его не задержали.

Что же делать? Чугунков вспомнил про Машу и решил посоветоваться с ней. Дочь хоть и любила руководить и не всегда слышала отца, но была на его стороне.

Прибыв к Маше, он застал её в домашних хлопотах. На плите кипел суп, угрожая залить плиту, младший сын Вова закатывал истерику из-за упражнения по русскому языку, которое уже третий раз приходилось переписывать, а старшая дочь Ира заперлась в ванной. Маша боялась, что та с собой что-то сделает.

— Па, привет. Разувайся, куртку сюда, — привычно распорядилась Маша, не замечая, что командует.

Иван Саввич сделал, как велено, и прошёл в квартиру. Первым делом он убавил суп, а затем пошёл к Вове, который стал рвать свою тетрадь. Старик посмотрел третьим глазом и увидел, что у внука дислексия — сложности с восприятием и написанием букв. Значки словно плясали в глазах у Вовы.

— Ничего себе, пляшут! — сказал Иван Саввич, подняв разодранные листы с ошибками в словах.

Внук посмотрел на деда удивлённо.

— Я говорю, буквы — как будто на вечеринке.

— Да, — подтвердил Вова.

— Опять разодрал! Да что ты будешь... Держи себя в руках! Как ты жить собираешься с такими истериками?! — закричала Маша, войдя в комнату.

— Не ори, — сказал Иван Саввич. — Я на тебя не орал, поди, в детстве.

— Со мной и хлопот таких не было, — парировала Маша. — Лентяй! Кому говорю, хватит рыдать! Сядь ровно и делай.

Иван Саввич рассказал дочери о том, что увидел.

— Если ты устала, давай я его к врачу свожу, — сказал он.

— Я сама успею. Всё в порядке. Пойду чайник поставлю.

Маша «надела» привычную улыбку, а отец смотрел на неё третьим глазом и видел, что та на грани нервного срыва. Дочь взваливает на себя непомерную ношу и не хочет этого видеть. В детстве он учил её самостоятельности — но, похоже, Маша перегнула палку. Старик не закрывал лоб, но дочь не замечала новый глаз, будучи полностью погружённой в свои проблемы.

— Маш, я с тобой поговорить хотел. У меня такое дело...

— Слушай, а с Иркой поговори, пожалуйста! Она с утра бунтует: «В школу не хочу!»

— Ира! — мама постучалась в дверь ванной. — Дедушка пришёл. Заканчивай свои выкрутасы! Открывай немедленно.

Иван Саввич увидел через дверь, что девочку травили в новой школе, и поэтому она не хотела туда идти. Ира прогуливала учёбу, пока классный руководитель не позвонил её маме — и тогда конфликт перешёл в открытую фазу.

— Они дураки, — сказал дед в щель у двери ванной, — и завидуют, что ты умнее них. А травят — так они мстят, что всему классу двойки поставили за невыученный урок, а ты встала и ответила на «пять».

— А ты откуда знаешь?! — удивилась девочка.

— Выходи, Ириш. Давай чайку попьем. А с матерью я поговорю, чтобы перевела тебя в другой класс.

— Сейчас, умоюсь только.

Ира включила воду — и в этот момент пришёл с работы муж Маши. Старик сразу увидел, что он изменяет жене, устав от её командного тона и вечного недовольства. А Маша знала это, но закрывала глаза, боясь потерять мужа. Пытаясь заглушить правду, которая всё-таки пробивалась через психзащиты, Маша лишь сильнее психовала и «закручивала гайки» — а состояние её ухудшалось.

Когда Маша пошла провожать отца (так и не заметив третьего глаза), он аккуратно рассказал ей правду. Дочь вспыхнула, обозвала его и чуть ли не силой вытолкала за дверь. Она подумала, что такова плата за её старания быть сильной и скрывать проблемы — никому её не жалко. Вот и отец не боится ударить, добавив к её душевному грузу небылицы про мужа.

Расстроенный, с тяжёлыми чувствами, Чугунков отправился к сыну Славе. Тот был с похмелья и, увидев глаз на лбу у отца, буркнул:

— Ща, бать, — и убежал в ванную.

Там Слава включил ледяную воду и долго фыркал, сбивая хмель. Он решил, что это белая горячка.

— Нет, сынок, всё правда, — успокоил его отец.

Хотя как «успокоил». Это было настолько странно, что Слава долго не верил. Старик рассказал всё как было.

— Знаешь, бать, я бы на твоём месте не светился с этой штукой.

— Думаешь?

— Стопудово. Начнут исследовать — хорошо, если тебя на запчасти не разберут ради эксперимента.

— Что же делать?

— Ты говорил, что завязывал бинтом. Если надо будет выйти куда — обматывайся. На работу тебе ходить не надо, подозрений не вызовет, что ты в этом постоянно. А так сиди дома, смотри телевизор — и выясняй, кто из них врёт и насколько. Интересно, кстати, через телек это работает?

Иван Саввич хлопал третьим глазом и пытался понять, что творится на душе у Славы. Но у того отчётливо виднелись лишь удивление и остатки хмельного звона в голове.

Тем временем, видеоролики с Иваном Саввичем и его третьим глазом, снятые зеваками в поликлинике, распространялись по сети со скоростью пожара. Очевидцы клялись, что это не фейк. Когда Чугунков вышел от сына, на него набросились прохожие, требуя сделать селфи и бесцеремонно щупая его. Слава выскочил во двор и отбил отца, увёл обратно к себе.

— Я на диване сплю, — сказал он, — а тебе на кровати свежее постелю. Заночуешь.

— А как же твои? — удивился старик.

— К её матери уехали, — неохотно отозвался Слава. — Погостить.

Слава зевнул, потянулся и стал напевать легкомысленную мелодию. Но старик увидел, что творится в его душе. Жена любила его, но подала на развод, не желая терпеть пьянство. А Слава пил, потому что потерял смысл жизни. Таланты растрачены, надежды не сбылись. Копошится под землёй, как червяк. Каждый день — как день сурка. У Ивана Саввича сжалось сердце. Он не мог дать сыну новый смысл — тот должен был найти его сам.

— Бать, а чё ты видишь про меня этим глазом? — поинтересовался Слава, доставая свежую простынь для отца.

— Что ты справишься, — соврал Чугунков.

Вернее, он не совсем соврал — это было его пожелание сыну. Слава улыбнулся и пошёл курить на балкон.

34

Всю ночь Иван Саввич вертелся в постели и мучился вопросом: зачем ему открылся этот дар? Или проклятье. Люди не хотят знать правду, которая делает им больно. Его самого открытие тайн лишь разочаровывает. Пять лет он ходил к одной и той же продавщице на рынке — и вот поди ж ты, всё время его обманывали. Дети глубоко несчастны, а не просто устали или временно хандрят. А как он им поможет? Какой толк от того, чтобы знать правду, но не иметь возможности ничего изменить?

Старик не спал до утра. С восходом солнца он встал, оделся и, оставив сыну записку, отправился домой — пока на улицах и в транспорте было пусто.

Выйдя из автобуса на своей остановке, Чугунков увидел полного мужчину, который спал на сиденье, развалившись и странно раскинув руки. Его лоб и волосы были мокрыми. Люди, ожидавшие автобуса, сторонились, считая толстяка бомжом или пьяным. Ивану Саввичу хватило одного взгляда, чтобы понять: человек умирает. Причину его состояния он понять не смог и стал тормошить толстяка, хлопая по щекам. Старик полез в его рюкзак, надеясь найти лекарство. Люди косились на него, а парень, который был посмелее, сказал:

— Не стыдно? Старый человек, а роется по сумкам.

Старик не стал объяснять. Парень схватил его за руки и в ответ на сопротивление повалил старика на землю. Из рюкзака выпала диабетическая книжка. Иван Саввич понял.

— Конфеты есть у кого? — закричал он. — Он умирает. Гипогликемия! Надо срочно что-то сладкое.

У одной девушки нашёлся «Сникерс», который она взяла в дорогу вместо завтрака. Парень позвонил в «Скорую». Про Чугункова все забыли, сгрудившись вокруг толстяка. Старик отряхнулся от пыли и ушёл.

По пути к дому пенсионер почувствовал сильную усталость. Он зашёл в круглосуточную аптеку и купил лидокаин. Хирургические нитки и игла были у него дома в аптечке — остались от жены, работавшей медсестрой.

Зайдя в свою квартиру, Иван Саввич сразу отправился в ванную. Он помыл руки, протёр веки третьего глаза лидокаином и антисептиком и стал зашивать их, осторожно стягивая кожу. Глаз заплакал. В дверь позвонили.

— Как не вовремя... — посетовал старик, наспех обмотал голову полотенцем и пошёл открывать дверь.

На пороге была дочь.

— Па, почему ты не сказал?! Мне сейчас Славка звонил...

— Я собирался.

— Прости. Я как всегда замоталась, не вижу ничего дальше носа. Покажешь?

Она потянула за край полотенца. Отец придержал его, но дочь уже успела увидеть нитку и иглу.

— Ты что делаешь? Зачем?! — воскликнула Маша.

— Одно расстройство и вред от него.

— Ты не прав. То есть был прав, но вчера. Я боялась увидеть всё как есть. Но ведь так нельзя? Рано или поздно, если бодро шагаешь как слепой — попадёшь в катастрофу. А я не хочу. И для своих детей — тем более. Я почитала про дислексию — похоже, ты прав. А я Вовку мучила, думала, он не старается. А дочка... Почему она мне сразу не сказала?

— А что бы ты ей ответила? Что она должна быть сильной, бороться с людьми, которые её терпеть не могут? А зачем? Это как сидеть в разъедающей кислоте, считая это борьбой за свои права. Иногда мудрее понять, что это не твоя среда.

— Ты прав. Надо же...

Они помолчали. Маша прикоснулась к коже на лбу отца, рядом с третьим глазом. Тот испуганно заморгал.

— Не зашивай, пожалуйста. Если это тебя не сильно нагружает. Я разучилась видеть всё как есть — теперь надо заново учиться, чтобы что-то решать. А пока ты мне будешь...

— Рубить правду-матку?

— Типа того, — улыбнулась Маша. — А там, глядишь, и мои глаза научатся. Славка — он тебе не сказал? — воодушевился и к жене поехал с утра. Говорит: «Не знаю, примет ли, но, кажется, я нашёл смысл жизни. И он — в них». А ещё говорит: «Я дебил, как можно было это не видеть?»

Маша повела отца на ванную снимать шов.

— Я «Скорую» внизу увидела — боялась, что к тебе.

— Наверное, к мужику на остановке.

— Что случилось?

Иван Саввич рассказал об утреннем происшествии.

— А говоришь! — воскликнула Маша. — Ты человека спас. Да и нас со Славкой. Па... Я не знаю, как сказать...

Иван Саввич скосил освобождённый третий глаз на дочь и увидел, как сильно она его любит. Старик обнял её и заплакал. Такого тепла и доверчивости он не видел уже лет 30, с тех пор как Маша стала подростком.

«Пускай остаётся, — подумал он про третий глаз. — Значит, есть смысл. Значит, ещё поживём».

Москва, 2022 г.

Олег Игнатьев



Игнатьев Олег Геннадьевич родился в 1949 году на Южном Сахалине. Детство и отрочество прошли в Игарке, на Енисее. Окончил Ставропольский медицинский институт и Высшие литературные курсы (1989–1991. Семинар Юрия Кузнецова). Автор шестнадцати книг поэзии и прозы. Печатался во многих центральных и региональных изданиях. Лауреат ряда литературных премий. Член СП СССР и России. Живёт в Москве.

Ледоход

* * *

Когда на иву сядет цапля
И августовского дождя
Непредсказуемая капля
Сорвётся, гром опередя,
Опять подумаю о власти
Неведомого надо мной,
Когда не делится на части
Отрезок лета временной.
И вечное, не помня смерти,
Поманит, страху вопреки,
Идти по зыби, как по тверди,
С другого берега реки.

* * *

Косяк гусей, кричавших над водой,
Запруженной гниющей сосною,
Умчался за далёкою звездой,
И выстудилось озеро лесное.
И в тот же миг повеяло зимой,
Такой сырой — ни с чем не сыщешь сходства —
И странно ощутилось над землёй
Дыханье безотчётного сиротства.

Так вот какое время перемен!
Так вот они какие, осенины,
Когда ты ждёшь покоя, а взамен
Смятение и тревожный клик гусиный.
Куда они так быстро унеслись,
Гонимые скитальческим уделом,
В какие потеплевшие пределы
Их выведет мерцающая высь?

Под ними омут осени сейчас,
Над ними ветер звёздного вращения,
Но что он значит, сей прощальный глас,
Для наших душ, притихших от смущенья?
Я в будущее верую светло!
Но зимние угадывая дали,
Я всё же знать хочу — ну отчего
Так много в мире грусти и печали?

Пастораль

Во имя или вопреки
Природной силе перспективы,
Чем ближе к нам изгиб реки,
Тем дальше солнечные ивы.
И мы под ивами, и тень
Какой-то птахи неприметной,
И праздничный воскресный день,
И соль на скатерти газетной.
И чёрный хлеб, и молоко,
И дух смолистый плоскодонок,
И облако,
И далеко,
Совсем далёко...
жеребёнок.

Осенние листья

1

Душа застигнута врасплох!
Боясь обиды, как пророчества,
Она и выдох мой, и вдох
Томила гнётом одиночества.

Но этот падающий лист!
И рук твоих прикосновение...
Мир никогда так не был чист
И так достоин откровения.

И то, что мы сейчас вдвоём,
И то, что нас венчает святостью,
Мы так счастливо сознаём,
Как будто век жить этой радостью!

2

А мы уйдём от лишних глаз,
И только цепкий куст шиповника
Проводит долгим взглядом нас
С пристрастьем выросшего школьника.

38

Разгонит осень птичий торг
И даст почувствовать заранее
Любви мучительный восторг,
Нежданный в пору увядания.

И пусть у вётел грустный вид,
Нас это нынче не касается!
Листва, которая горит,
Печалью дыма не смущается.

И пусть проходят времена,
Даруя памятью и мучая,
А жизнь по-прежнему сильна
Прозрением слепого случая.

3

Снова листья плывут в тишине.
А когда неприкаянны листья,
Все потери дороже вдвойне
И обидны безвольные мысли.

Неужели я слов не найду,
Чтобы с ними аукались дали,
Чтоб не мы, а у нас в поводу
Шли печали, которых не ждали?

Я ведь только тебя и люблю.
И себя так нескладно жалею,
Вот огнём ворох листьев гублю,
А зачем — и сказать не умею.

Все потери дороже вдвойне!
И пускай, золотой от свеченья,
Мир не ведает предназначенья
И сгорает в закатном огне...
Ты была и пребудешь во мне.

Ледоход

Ледоломная сила большой подъяремной воды,
Накопившая злобы в своих тайниках под завязку,
На себе ощутив ледяного покрова пуды,
Напряглась в берегах — и река получила огласку.
Словно пропастный гул потрясённых ледовых полей,

Огласивший окрестности в первую ночь ледолома,
Обещал показать перелётным станицам гусей
Первобытные тропы весны, как старинным знакомым.
А сегодня река белым льдинам ломает хребты!
Есть на что поглазеть, есть подумать о чём понизовью!
Исполинские глыбы, пластая себе животы,
Выползают на сушу стекать изнурённой кровью...
Белозубое солнце довольно работой своей!
Просыхает земля... Ветер пахнет сосновой живицей...
И хозяйственный житель стремится без лишних затей
Постоять у воды и, быть может, хоть чем-то разжиться.
Это всё ледоход! Вольнодумец и вечный беглец
Раструбил на весь мир, как он ценит весны первородство,
Вот и птицы кричат о какой-то свободе сердец,
И ликует душа, будто воля имеет с ней сходство.

Похолодание

На закате осень.
От акаций тень.
Воробьи —
Штук восемь —
Сели на плетень.
Потесней,
В обнимку...
Нищая родня!
Как на фотоснимке
Или у огня.

Лунное затмение

Донимала странная усталость...
Под крылом вечерней бузины
Тосковала птаха... Начиналось
Полное затмение луны.

Вековые рослые деревья,
Нарастив угрюмую кору,
Распускали тёмные поверья,
Каждое поверье — не к добру.

И смолкали глупые цикады,
И затих прогулочный баян,
Только с обособленной эстрады
Ухал оживлённый барабан.

Над землёй, где пело и гремело,
Над огнём пожарной каланчи
Лунное подобие горело,
Угольно-кровавое в ночи.

И, быть может, кто-то этой ночью,
Звёздный ковш глазами осушив,
Пережив затмение воочью,
Горечи почувствовал прилив.

Жить не жил, а сердце надорвалось,
Петь не пел, а голос отлетел,
А всего и требовалось малость:
Видеть то, что раньше проглядел.

* * *

Сызмала я жалуюсь на зренье:
Всюду вижу скрытое вдали
Русское ловецкое селенье —
Близкий сердцу краешек земли.

Я его узнаю и спросонков
По смолёным лодкам у жилья.
Здесь меня тетёшкала японка —
Няня сахалинская моя.

Пела песни грусти и отрады,
Но крутился ветер у ворот,
И её слышал друг микадо,
И прислал за нею пароход.

Где она? Каких полна историй?
Балует ли сказками внучат?
И какие в радости и горе
Нотки в её голосе звучат?

Поглазев на мир, покуролесив,
Я иду на зыбкий свет луны
И печально-ласковую песню
Слышу с чуждедальней стороны

Маргарита Торгашина



Торгашина Маргарита Юрьевна родилась в Улан-Удэ в 1962 году. Член Союза российских писателей. Рассказы публиковались в сетевом альманахе «Финбан», в «Антологии произведений писателей Бурятии» (2021). Публикации в «Байкале»: «Япона мама а ля рюс» (2013), «Швабра на могиле» (2015), «Проклятое дежа вю» (2020), «Флюгер» (2023). Занимается огородом и мелкой торговлей. Живёт в селе Кокорино.

Харасё, когда всё харасё

рассказ

Вот моя деревня, вот мой дом родной.

Распахивается дверь, и скрипят под ногой осколки бутылки. Это Ленка Шаенко однажды, черт знает, сколько лет спустя, входит в давно брошенный ею дом, как на обломки затонувшего корабля.

Двое сидящих за столом поворачивают к ней головы и что-то восклицают. Это друг сердешный Вальки Чувырлы Колька и его собутыльник... как его... а, неважно. Местный чудик по кличке «акын». Они выпивают после тяжелого, напряженного, не трудового и не рабочего, но сложного и неоднозначного дня.

— Тост давай, должны же мы знать, за что пьем.

Хотя знать им это на самом деле совсем не обязательно.

— А вы... — слегка удивляется Ленка.

— Мы законно, Ленка, мы не грабим, мы, наоборот, охраняем, мы уберем.

— А где...

— А Валя всё, ту-ту, уехала, в соседнюю деревню.

— К соседу, — смеётся «акын». — Ну, она говорит, что к брату, кузену. Ты же знаешь, какая у тебя великолепная, великолепная мать, извини, конечно.

Из тумана другой деревни, из пьяного угара выплывает наглая, постаревшая рожа Вальки Чувырлы, которая и здесь — пуп Земли и центр Вселенной.

В окружении осоловелых любителей её чудес и дарового пойла она вещает:

— Когда я приехала в деревню, кого тут только не было, всяких тварей было полно. Когда я тут жить начала, исчезли все — все мыши и тараканы не только в моём доме, но и по всей деревне.

— Как это? — вылупляют глаза подружки-пьянчужки, способные перепить любого мужика. — Это какая отрава? Что это?

— Фирма веников не вяжет, но вам скажу. Я каждой букашке, каждой бляшке-мушке и таракашке, каждой мышке выписываю заграничный паспорт и отправляю за рубеж.

— За рубеж ... — поёт хор хануриков.

— Столько добра сделала людям, и хоть бы кто мне в глаза плюнул. Я всех их, тварей, оправила за рубеж, и там они все сдохли. И так будет с каждым. С каждой тварью! Выпьем, господа. Наливай.

Ленка заглядывает в соседнюю комнату и видит фотографию Виктора в трауре.

— Нашли всё-таки, кто убил?

— Шальная пуля, понимаешь, — подходит к ней Колька. — Может, кто случайно выстрелил неподалеку, а ему прилетело.

— Шальная пуля, говоришь, — тянет Ленка, — вы серьёзно?

— Бывает, бывает, — вставляет «акын», — и не такое бывает.

— А такое, чтоб виновного нашли, бывает? — спрашивает Ленка.

— Ну кто кого найдет, Леночек, ты подумай сама, у нас же на ёлках кинокамер нету. Это ещё хорошо, что нашли и похоронили сразу. А то снегу навалило, и так бы и лежал в сугробе, если бы собака его не нашла.

— Хорошая собака была у него, — вторит «акын».

— Хорошо у нас в деревне, — кивает Ленка.

— Харасё, когда всё харасё, — поет «акын».

Где-то в это же время за столом сидит Алекс со своим, нет, не собутельником, а партнером по бизнесу, и слушает его выговор.

— И чего ты, Лёха, тормозишь, чего ты ждешь, надо гнать, гнать, пока фартит, надо кайф ловить.

— Какой кайф? Побочки много, а товар-то гниловатый. По-русски сказать, не товар, а дерьмо собачье.

— Так из дерьма-то и надо козульку лепить, а пипл всё схавает.

— Пипл-то схавает, самим бы не замараться.

— Пока ты в сторонке чистенький стоишь, вся жизнь пройдет. Понимаешь, другого товара сейчас нет и не будет, время сейчас такое, понимаешь. Ты понимаешь, сейчас или рисковать, или проблемы хлебать. Хватит приbedняться, пора воровать.

— Воровать-то по большому счету нечего, — вздыхает Алекс.

— Значит, риска меньше. Всегда есть, что воровать, было бы желание.

— Желания нету, — вздыхает Алекс.

— Придёт в процессе. Главное — замутить процесс, на этом стоим.

— А, мы на этом стоим? — притворно удивляется Алекс.

— А-ха. А на чём ещё.

— Йезус Мария, святой Абдурахман, — Алекс разливает по рюмочкам коньяк, — мутота какая.

— Вы всё так же стихи пишете? — обращается к «акыну» Ленка, выходя из комнаты.

— Я «акын», что вижу, то и пою.

— Сбацайте что-нибудь из последнего, — просит Ленка.

— Щас, — «акын» набирает воздух.

— Я жить хочу, и мне смешно, ведь мне одно лишь суждено, влачить и лямку, и ярмо, смотрю вокруг — кругом, — грозно озирается, — дерьмо, а за окном давно темно, я буду петь, и буду пить, и буду родину любить.

— Стэнд ап и рэп плачут по вас, — подхватывает Ленка, — бери шинель, любви поэт, иди домой, физкультпривет, — она отворачивается к окну, за которым действительно темно; хочется туда, на свежий воздух, но уже темно и холодно, и хочется от усталости спать.

Дружки встают и направляются к выходу.

— А ты откуда рифмы знаешь? — спрашивает «акын», проходя мимо.

Фамильное объятие, страстное дыхание, таинственный шепот:

— Лен, ты это... может, дашь... это... на чекунчик за ради встречи.

Ленка Шаенко лилейно-нежно:

— Бог подаст.

— а-а-а...

— А-ха.

Татьяна Григорьева



Григорьева Татьяна Петровна родилась в Улан-Удэ. Окончила Томский медицинский институт, работает врачом клинической лабораторной диагностики. Поэт, прозаик, драматург, переводчик, общественный деятель. Публиковалась в литературных журналах и коллективных сборниках. Автор двадцати книг, написанных в разных жанрах: стихи, рассказы, пьесы, детские стихи, сказки, поэтические переводы. Член Союза писателей России, лауреат многих литературных конкурсов, в том числе Всероссийской литературной премии имени М. А. Булгакова.

Монологи вещей

Монолог лысины

Я скажу не без причины:
— Я — находка для мужчины!
Если я имеюсь, значит, что высок тестостерон.
Лысый муж — любвеобильный,
Два в одном: умен и сильный.
На шампунях экономный и хорош со всех сторон.

Набивайте себе цену
Сходством с Гошей Куценко.
Нас компания Транс Хайер зря считает за дефект.
Мной гордится сам Валув,
Я — плацдарм для поцелуев.
Эротических фантазий я сверкающий объект.

Монолог песочницы

Я думаю, каждый со мною знаком.
Я — просто квадратик, набитый песком.
Вы в детстве копали здесь бодро лопаткой.
И я превращалась с утра в стройплощадку.
А вечером взрослый приходит народ,

Он водочку с пивом мешает и пьет.
И рыбу какую-то ест суетливо.
Ну, пили бы дома они это пиво!
Во мне оставляют детишки мечты,
Папаши — бутылки, собаки — глисты.
Вчера мне песок заменили. Я рада!
Будь проще, и люди потянутся. Правда!

Монолог замочной скважины

Что же было вчера! Что же было вчера!
Я кровавый увидела триллер.
Он припал ко мне ровно в 7:30 утра,
Как к оружию опытный киллер.
Кто же он? Наш сосед, похотливый старик.
За хозяйкой моей наблюдает.
В предвкушении зрелища выпал язык:
«Лифчик, блин, на ходу надевает!»
Он кряхтел и сопел, был замечен, и вот,
Раскрасневшись от злости, девица
Приготовленный гвоздь быстро в руки берет,
Старый хрыч не успел уклониться.

Монолог обруча

Опять меня надела эта дура!
Хотя физрук ей прямо говорил:
«Не порть, Манана, девочка, фигуру».
Напялила, застряла, нету сил.
Теперь орет: «Мне плохо, распилите!
Я скушала на завтрак лишь сухарь».
Одна лишь радость в ворохе событий —
Физрук стоит горой за инвентарь.

Монолог сломанного ноготка

А я ей сказал: «Грызть фисташки зубами!»
Но, видно, ей зубы дороже ногтей.
Теперь она ноет и ходит кругами.
Сломала меня, кайф ломаем и ей!

Сейчас зацеплюсь за колготки. Прелестно!
В помойку. А новых непорванных нет.
Из платья я ниточку вытащу. Честно?
Она опоздает на званный обед.

А сопли и слезы, как бурная речка.
От туши под глазиком каждым кружок.
— На палец со сломанным ногтем колечко
Тебе не наденет сегодня дружок.

Монолог Эйфелевой башни

Я — символ Парижа, конечно, мне лестно.
Мне нравится музыка, лампочек свет.
Еще бы по мне эти люди не лезли.
А лезут и лезут сто двадцать шесть лет.

Монолог закопченного котелка

Неделю назад они съели тушенку
И варят во мне исключительно пшенку.
Сгорает на дне, прилипает к бокам.
Мечтаю: удрать бы от них к рыбакам!

Монолог банного тазика

С граждан YouTube вышибает слезу
Роликом «Баба застряла в тазу».
Ржут, не жалея ни горла, ни глаз.
Я — тот несчастный пластмассовый таз!

В вас бы застряла огромная попа!
Стали бы бить вас ногами и хлопать
Всякие пьяные Вани и Вали.
Вас после бани по полу катали?!

Часто преступно используют нас:
Манку и гречку хранят про запас.
Если спасают от бабьего зада,
Могут в дальнейшем пустить под рассаду.

Могут подвинуть для Васи с похмелья.
Мало у тазика в жизни веселья.
Где Мойдодыр?! Он издал бы приказ:
Только для бани использовать таз!!

Монолог женского купальника

Я стою порою дороже пальто,
Хоть ткани ушло на меня с гулькин нос.
Мне важно немножко прикрыть кое-что,
Так чтоб кое-кто был взволнован всерьез.

Монолог метлы

Пожалел бы кто метлу.
Я стою одна в углу,
А ведь я летать умею сквозь дожди, метель и мглу.
Моя бабушка-яга
Нынче — старая карга,
А когда-то мы летали на ночевки во стога...

И уже который год
У нее болит живот,
Ну а кто же с диареей отправляется в полет.
Приходил на днях Кощей,
Не мужик — мешок костей.
Заметать песок пришлось мне, на фиг нам таких гостей.

Нет Иванов, Василис,
Все давно перевелись.
Как-то глупо строить козни для волков и местных лис.
И выходит мой удел —
Ни плохих, ни добрых дел.
Это в творчестве народном непростительный пробел.

Монолог обшарпанной стены подъезда

Я не Берлинская стена,
Стена подъезда.
И надпись есть: «Пошли все на...»
(Куда не ездят).
Никто не внес за капремонт,
Но ходит гордо
Тьмутаракановский бомонд
С довольной мордой.
Как жаль, что я не потолок,
Хоть счастья мало,
Я штукатурки бы кусок
Порой бросала.
Не для того, чтобы убить
(Иных бы надо),
А чтобы совесть разбудить
У этих гадов.

Монолог рюмки

Опять он мною долбит о бутылку
И говорит бутылке: «Будем, мать!»
И огурцом, посаженным на вилку,
Он промахнулся мимо рта опять.

Друзья ушли, а может быть, не знают,
Что он разжился водкой (не позвал).
— А это, — он икает, — «стременная».
Он, кстати, исторический кончал.

«На посошок» и прочее, что значит,
Он знает, как-то лекцию прочел.
В тот день брательник с Еревана чачу
Ему привез, а чача-то ничё.

Но я знавала времена иные:
«Тамянку», пальцев тоненьких тепло,
Следы помады алой кружевные.
А говорят: «Бездушное стекло...»

Монолог кубика Рубика

Я не мяч, не погремушка,
Не свисток для мелюзги.
Я — отличная игрушка
Для имеющих мозги.

Вы собой — как Нефертити,
А мозгов — наплакал кот,
Сколько кубик не вертите,
Чуда не произойдет.

Монолог сигареты

Ах, как элегантно я тлею в руке,
И губы целуют меня, я прекрасна.
Но вредный Минздрав написал в уголке
На доме моем, что смертельно опасна.
А я не вредней, не вредней наркоты.
Вот бодрый старик прикурить дал блондинке.
А я не страшней, не страшней темноты.
Вреда во мне меньше, чем в мокром ботинке.
Я знаю, доказано: рак от «мобил».
Ну что, убедила? Так будем дружить?
И видами пепельниц — братских могил
Нельзя омрачать мою яркую жизнь.

Монолог клубка шерстяных ниток

Тянется нитка, я таю и таю,
Но я о жизни иной не мечтаю.
В добрых умелых руках мастерицы
Быстро мелькают вязальные спицы.
Был я на кофте цветной полосой,
Шарфиком был у девчонки с косой.
Снова я круглый — по полу верчусь,
Вот интересно — во что превращусь?

Монолог переполненного мусором ведра

Ах, вот, наконец-то — на донышке — ОН —
Стаканчик с картинкою йогурт «Данон».
Он был земляничный, любимый! Ура!
Да, радостей мало, увы, у ведра.
Хозяин довольный с рыбалки пришел,
А мне задыхаться от рыбных кишок.
Слагаю для Вас я сквозь слезы стихи,
Мечтаю, чтоб кошка разбила духи.

Константин Сонголов



Сонголов Константин Эдуардович родился в 1969 году в п. Хоринск. Окончил ПТУ №2 по специальности чеканщик-косторез, служил в армии на Дальнем Востоке, окончил Бурятское республиканское училище культуры и искусства, Восточно-Сибирскую государственную академию культуры по специальности художественный руководитель декоративно-прикладного искусства, изучал в магистратуре ВСГАКИ историю искусства и культурологию, работал монтировщиком, декоратором в театре. Победитель премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева в номинации «Короткая проза». Живёт в Улан-Удэ

Слон и вьетконговцы

рассказы

Охота на зайца

...Однажды несколько преуспевающих бурят, а речь пойдёт именно о них, решили как-то собраться вместе. Что и было сделано. И, вероятнее всего, в Улан-Удэ. Где ещё могут встретиться четыре богатых бурята? Вот они и встретились.

Первым делом надо, конечно, похвастаться: но так, чтобы не попросили денег взаймы. А уж если и попросили, то сумму, не превышающую стоимость одной бутылки водки. Или двух, но не более, ибо это уже противоречит философии недеяния. Да, встретились они именно в столице Бурятии. Где именно? Об этом история умалчивает... К сожалению многих и к счастью участников этой истории. Предположительно, это произошло в одном из питейных заведений, благо их хватает. Итак, обменявшись приветствиями, принятыми в середине девяностых обладателями кожаных курток и мясистых стриженных затылков, друзья, кенты и просто хорошие знакомые решили встречу отметить. Как отмечают встречу в Сибири, рассказывать не слишком интересно. Водка, закуска, в зависимости от местного колорита, и брутальные разговоры. С этого-то всё и началось: выпили, наверное, уже по третьей и, как водится, закурили. Тогда курили не выходя из-за стола. Покурив, надо полагать, налили ещё по одной, затем ещё, пока кто-то из них не предложил: «А поехали на охоту!»

Тут-то и началось... Выпить за охоту — святое дело! Живём, чёрт возьми, один раз, а с такой жизнью неизвестно, удастся ли поохотиться? А то пристрелять ко всем чертям, а живого зверя так и не удастся увидеть...

Сколько продолжалось это мероприятие, никто точно сказать не возьмётся, но кратким оно быть не могло. К чести участников следует отметить, застолье не превратилось в запой. В России такой результат уже можно считать достижением. Участники застолья договорились встретиться завтра, с утра. Каждый со своим стволом. На этом, выпив на посошок, и расстались.

Утро застало всех участников во всеоружии. Все собрались пораньше, охота ведь не каждый день бывает. Поздоровались, похмелились, выбрали самый большой джип. Проверили стволы, залили ещё по одной в глотки и забрались в автомобиль. Маршрут, видимо, решили согласовать по дороге. Их было четверо, и пятый — водитель, поэтому он не пил, конечно.

Выехав за город, охотники решили сделать небольшую остановку. Перед охотой, как известно, необходимо произвести ритуал подношения духам. Духов местности угощают свежесваренным чаем, молоком, а ещё лучше водкой. Что и было совершено со всей должной серьёзностью. Впрочем, неизвестно, тем ли духам брызгали?.. Но делали это добросовестно. Совершив все положенные ритуалы, участники сафари, придя в прекрасное расположение духа, решили действовать. Забравшись в автомобиль и открыв окна, высунувшись из них едва не по пояс, достали самозарядные винтовки. Начали рейд по степи. Свернув с просёлка на полное бездорожье, почувствовав зов крови предков, представляли себя чуть ли не потомками самого Модэ. Разгорячённые быстрой ездой, сравнимой со скачкой на дикой лошади, собственной фантазией и, конечно, водкой, стрелки зорко оглядывали проплывающие окрестности. Наверное, даже воины Чингисхана не решились бы вступить с ними в единоборство.

Ветер, обдувающий крепкие лица, плывущие по небу облака, гулая степь, урчание японского мотора... Что ещё нужно для сердца кочевника? Внезапно сидящий впереди, а может, и тот, чей торс торчал из верхнего люка, издал протяжный клич. Даже степные волки позавидовали бы силе звука:

— Смотри, заяц! Гони за ним!..

Огромный джип с креном вывернул в указанном направлении. Там, поднимая небольшой хвост пыли, нёсся заяц. Охотники, забыв обо всём на свете, пытались поймать в перекрестие оптического прицела убегающего зверя. Те, кто хотя бы раз пытался смотреть во время езды в бинокль или другую оптику, легко могут это представить. Сфокусироваться на выбранном объекте невозможно. Но инстинкт охотника сильнее разума.

Кто выстрелил первым, выяснить потом не удалось. Но кто бы он ни был, стрелок открыл известный ящик... И тут началось! Кто знает, кем себя ощущали участники этой истории: ковбоями, красными кавалеристами или, может, даже хунхузами... Какая теперь разница? Стрельба началась просто неприличная! Если бы заяц знал, сколько на него потратили боеприпасов, он бы и не бежал никуда, а тут же умер на месте от важности. Удивительно, как никто никому ничего не отстрелил: ни уха, ни пальца, ни чего другого. Гильзы со звоном сыпались в степь, в салон автомобиля, на кожаные куртки охотников.

Пыльные султаны вспархивали спереди, сзади, справа и слева от улепётывающего со всех ног косога. Видимо, само небо оберегало эту бессловесную тварь... Пули ложились и так и эдак, буквально в считанных миллиметрах от серого зверя, но ни одна не попала в цель. Азарт охоты, жажда добычи раздували ноздри, гнали кровь в мозг. Ещё немного, ещё совсем чуть-чуть, и трофей будет взят.

Впереди, в степи, показалась цепочка столбов, телеграфных или электрических — в общем, самых обычных. Столбы и большой японский внедорожник неотвратно сближались. Стрелкам пришлось буквально вываливаться из окон авто. Ещё один, последний выстрел, и серая тушка ляжет у ног победителей. Однако не тут-то было, заяц, совершив рывок отчаяния, внезапно оторвался от преследователей и с неимоверной скоростью припустил прямо к столбу. В голове водителя промелькнула мысль, что заяц наводит джип на столб с целью столкновения. На деле заяц оказался ещё более коварным. Со всей доступной ему стремительностью, пробежав до столба, он гигантским прыжком бросился прямо на столб и запрыгнул сразу метра на полтора! Затем с непостижимой скоростью взобрался на самую верхушку. Скрип тормозов, наверное, слышала вся степь...

Дружная ватага охотников, высыпавшись из авто, буквально остолбенела. Ещё бы, на их глазах случилось невероятное! От дикого изумления рассеялись алкогольные пары. Когда взгляды охотников прояснились, перед ними предстала безрадостная картина. На самой верхушке столба сидел и злобно тарачился на них большой серый кот!

Потом была долгая немая сцена. Когда молчать стало совсем невыносимо, один из пятёрки, откашлявшись, сказал: «Главное, чтобы никто не узнал!»

Все молча с ним согласились, сказать всё равно было нечего. Ведь посмешищем можно было стать не то что до конца жизни, а хватило бы ещё потомкам на два поколения. В душе всем очень хотелось убить виновника их позора, но ни у кого не поднялась рука. А он, распушив шерсть, с ненавистью смотрел на мучителей и злобно шипел.

Друзья, а следует признать, что это был один из худших дней их жизни, поклялись, что ни одна душа на свете не должна узнать о сегодняшней истории!

На том и порешили. Быстро убрали оружие в чехлы, сложили его в багажник, захлопнули за собой двери и умчались в город допивать водку. О дальнейшей судьбе кота ничего не известно.

А где-то там, высоко-высоко в облаках, опрокинувшись на спину и задрав ноги кверху, умирали от хохота небожители.

Сатурн выходит на связь

Как-то летним вечером произошла одна довольно дурацкая история. Россияне, как известно, летом работать не любят. Не то чтобы в другое время года рады трудиться, но летом как-то особенно не хочется. Если не работать, то что делать? Лучше всего возлечь на берегу водоёма, желательно с солёной водой; можно, конечно, и с пресной, на худой конец, у реки. Или уж хотя бы с приятным собеседником в тени дерева, а пусть даже и в прокуренной холостяцкой хижине. Единственно, делать это на сухую моветон, что в переводе на русский язык означает — дурной тон.

Вот что-то подобное и произошло... Два весёлых друга — один, скажем, дылда, а другой совсем нет — вели себя в хорошей тональности. Говорили о женщинах, о политике, о судьбах мира, при этом предельно корректно критикуя соседей, коллег и друзей. Восторженно рассуждали о верных жёнах, о неверных жёнах, о падших женщинах. Известно, сколько о женщинах ни рассуждай, а вино всё равно кончится, как и все аналогичные напитки, как бы они ни назывались: такова жизнь.

Ну, а раз так, то кто-то должен идти в поход — или в набег, кому как нравится. Чего, собственно, рядится, идти-то недалеко! А то, пока один будет идти, раскланиваясь со всеми знакомыми, другой, если оставить его одного, может потерять сознание и распустить слюни. Попробуй-ка потом его разбуди... Столько о себе интересного узнаешь! Так что лучше идти, прикрывая спину друг друга. На том и порешили, благо шагать всего триста ярдов. А поскольку жара, лето, то и решено было взять испанского красного вина отечественного разлива. Мужчина сказал, мужчина сделал.

На обратном пути, примерно через полтора ста ярдов, двум амигос повстречалась их знакомая ветренная донья. Пути господни неисповедимы, но два синьора не могут бросить беспомощную даму. Ну, а раз так, то доны, сэры, пэры, включая месье, панов и товарищей, должны счесть своим долгом уделить донье, леди, мисс, мадемуазель, пани и гражданке внимание. На «гражданку» гражданка обиделась, сказав, что она хочет быть ханшей! То бишь ханом женского пола. Мужчины не нашлись, что ответить. Поэтому было принято решение присесть на бетонные плиты теплотрассы. С ханшами не спорят.

Тут бы и сказке конец, ан нет.

Вино оказалось коварным, то есть с упрямой пробкой, никак не желавшей расставаться со своим стеклянным убежищем; внутрь, впрочем, она тоже не стремилась. Ситуация приняла патовый характер: два друга потеют, пыхтят, всячески чертыхаются, дама делает круглые глаза и пытается взять всё в свои руки. Ханшам, однако, не следует доверять хрупкие сосуды, велик риск их гибели. Наконец тот из друзей, что поменьше, догадался принести из дома штопор. Ликованию не было предела, когда противная пробка с жалобным писком была извлечена из своего убежища. В дело пошли стаканы, и красная испанская кровь побежала по жилам сибиряков. А уж после закуренных сигарет настроение стало отличным, просто прекрасным! Небо было синим, как на полотнах лучших испанских живописцев, солнце щедро рассыпало золотистые брызги, как будто специально для этого прибыв из Испании.

Великолепное настроение, весёлые шутки, а потом ещё по стаканчику, что может быть лучше?..

Лучше всего было не демонстрировать счастливые лица и громко не смеяться.

На лазурном небосклоне, как всегда внезапно, появились тёмные тучки. Тучки были одеты в униформу цвета туч и двигались, естественно, на автомобиле УАЗ. Подъехав к веселящимся, остановились с характерным скрипом. И тут-то всё началось... Распитие спиртных напитков в общественном месте, нахождение в нетрезвом виде, вызывающе шумное поведение. Всё это подпадает под статью 20.21 административного кодекса.

Далее, как обычно... с одним маленьким «но», которое оказалось не таким уж маленьким. Тот из друзей-весельчаков, который покрупнее, был ветераном-пенсионером МВД. Корпоративная этика не велит притеснять своих, это понятно. К тому

же оказалось, что весёлая донья — также вдова ветерана-пенсионера МВД, к тому же омовца. Ничего не поделаешь, придётся брать третьего... Габаритов он не больших, справиться с ним будет нетрудно. Да к тому же — художник, да ещё и театрал. Сам бог велел отвезти его в наркологический диспансер! А то больно весёлый. Подумаешь, что театрал, закон для всех един. Но патрульные не учли, что те двое, к которым претензий нет, не захотят бросить своего невысокого друга в беде.

Началось новое действо на подмостках человеческой жизни. Ситуация, по сути, не стоящая выеденного яйца, превратилась в трагифарс. Все трое, плюс двое малолетних детей-близнецов вдовы, подняли громкий ропот, от чего кутерьма только усугубилась. Старший патруля от поднявшегося гомона слегка ошалел. И начал вызывать по рации дежурного по отделу, дабы пробить по служебным базам существование и статус всех участников безобразия. Рация шумит, прохожие озираются, жильцы домов повывлазили на балконы, высунулись в окна и с интересом наблюдают за происходящим. А тут ещё близнецы решили увести маму домой, что только подлило масла в огонь. В итоге она всё-таки осталась. Сержант наконец-то смог заняться рацией.

— Марс, Марс! Я девятьсот сорок первый, ответьте, — произнёс сержант, не забывая поглядывать на нарушителей. Те пытались изображать одновременно и смиренный и независимый вид. Особенно художник. На попытку сержанта ещё раз вызвать дежурного, он не придумал ничего лучше, как прибавить: «Я — Сатурн!»

В итоге получилось: «Марс, Марс... Я — Сатурн!»

Все нарушители приснули, и отвели глаза в сторону. Водитель УАЗа лёг на руль и в изнеможении затрясся беззвучным хохотом.

Это едва не стало для художника последней шуткой в жизни.

Сержант бросил трубку, зарычал и начал вылезать из машины с твёрдым намерением кое с кем покончить. Кое-кто начал оправдываться... Дескать, да я пошутил и ничего такого, в общем. У него сразу же нашлись два адвоката разного пола, так что разговор перешёл в перебранку, которая приняла характер взаимных оскорблений и продолжалась около четверти часа. Потом все устали, было совершено несколько телефонных звонков крупновзвёздным знакомым. Марс, наконец, ответил... И пар вышел.

После этого сержант погрозил художнику кулаком, захлопнул дверь, и УАЗ с урчанием скрылся. Художник тут же получил от ветерана подзатыльник и эпитет «отморозок»! Донья тоже не осталась в стороне и, дёрнув его за волосы, прошипела: «Идиота кусок!» Затем, схватив детей за руки, удалилась в свои пенаты.

Зрители поняли, что, пожалуй, занавес и можно закрыть окна. Театрал с ветераном, почесав затылки, решили ещё раз преодолеть триста ярдов. Ведь они всё-таки победили. Сатурн вышел на связь, а летний вечер уже кончался.

Слон и вьетконговцы

Моё первое воспоминание — слон. Мне тогда было года полтора. В таком возрасте ещё нет воспоминаний. Они появляются позднее. Согласен. Но, видимо, слон настолько потряс моё детское воображение, что это событие навсегда врезалось в мою память. Да, это было, наверное, в апреле или мае. Потому как люди были одеты в то,

что принято называть демисезонной одеждой. И солнца было сравнительно немного. Но хватало, чтобы я смог разглядеть экзотическое животное.

Помнится, к нему шёл мужчина с ведром воды. Краски были очень яркими... Позже я узнал, что там был не только слон. Скорее всего, это был передвижной зоопарк. Мне это рассказывала моя бабка, у которой я находился на руках. Был там ещё верблюд (не берусь судить о количестве горбов). Бабке сей уважаемый корабль пустыни запомнился плевком. Как это частенько бывает, поглазеть на зоопарк стеклось множество народу. И, естественно, не обошлось без товарища подшофе, которого верблюд чем-то страшно возмутил. И он не преминул выразить ему своё негодование. Представить несложно. Верблюды — существа крайне высокомерные. Во всяком случае, выглядят так. Этот оказался не хуже других и на всех плевал. Разумеется, не на всех... А только в пьяного бузотёра. Тем же, кто оказался рядом, пришлось долго утираться, проклиная этот день, зоопарк, собственное любопытство и козла с верблюдом. Но я этого не помню, помню только слона.

Следующим моим важным воспоминанием оказались вьетнамцы. Причём, серьезные. В смысле, из Северного Вьетнама. Вероятно, вьетконговцы. Это было на перроне. Мы куда-то ехали. Вернее сказать, меня везли. Запомнились их лица, белозубые улыбки и яблоко, которое они мне всучили. Наверное, я сам был похож на яблоко, такой же круглощёкий и румяный. На память о них у меня остались два значка. Один с профилем Хошимина в обрамлении золотых лучей, второй — с абрисом разрушенного городского здания, горящим и падающим бомбардировщиком и надписью «Hanoi chieng thang».

Другие детские воспоминания — это длинная череда всяких несурзностей, представляющих интерес только для их владельца. Поэтому возвращаться к ним буду по мере необходимости.

Цена любви

Поговорим о супружеской неверности. Каждый может вспомнить парочку, а то и парочку десятков подобных историй. Некоторые, надо полагать, были и сами фигурантами подобных авантюр. Во всяком случае, кой у кого зашевелились скелеты в шкафу и вспотели ладони, кой кому захотелось поёрзать. Что ещё... забегали глаза, зачесались носы, щёки. И вообще, быстрее бы это кончилось! Хорошо, приступим к рассказу.

Это короткая история про одного ювелира, который имел неосторожность попасть в паутину опытной охотницы. Оно бы всё ничего, но... Жена и целый отряд детей! Жена к тому же любимая. А дети — тем паче. Классика.

Наш ювелир имел немалые габариты телесные и душу широкую. Творец он был талантливый, обладал уживчивым характером и лучезарной бурятской улыбкой. Так что, надо полагать, клиентура у него всегда была в наличии. Человек доброй души, любит детей и, наверное, процессы, так или иначе связанные с этим. Одним словом, наш герой знакомится с некой дамой, которой удаётся заманить в свои сети столь достойного семьянина.

Дело происходило в Улан-Удэ. Многие хорошо знают или слышали, по крайней мере, про так называемый висячий мост, что соединяет берега Уды. Эти берега —

что левый, что правый — места, скажем прямо, brutальные. А сам мост — нечто пугающее. Время от времени по нему настороженно пробираются редкие прохожие, искоса поглядывая друг на друга. Это всё к тому, что наш ювелир проживал на левом берегу, а его возлюбленная — на правом. Как долго продолжался авантурный роман, вряд ли кто скажет, да и не это важно.

Однажды ювелир получил хороший заказ: изготовить золотую цепь весом в сто грамм и толщиной в палец. С чем он блестяще справился. Приняв по поводу завершения работы хорошую порцию коньяка, положив цепь в карман, он запер мастерскую и направился домой. И всё бы хорошо, но тут чёрт его попутал, по-другому не скажешь. То ли пары многозвёздного напитка, то ли мужское фанфаронство, то ли ещё неизвестно что... Но домой он не пошёл. А отправился, как нетрудно догадаться, к даме своего сердца. Захотелось и мастерством своим похвастаться, и излить, что накопилось на душе. Что и было сделано. В какой-то момент ювелир случайно взглянул на часы — и пришёл в ужас! Было уже за полночь... А дома сидит жена, а самый маленький — еще грудной, а самый старший начал приносить двойки. Ой-ой-ой! Дело нешуточное. Кое-как завязав шнурки, на ходу застёгивая пуговицы, наш герой со всех ног пустился до дома. Путь как раз проходил по висячему мосту, в народе его чаще называют висячка. Вот по ней-то он и шагал. Потому что бегать по такому мосту — занятие рискованное, через каждые полметра понатыканы арматурные петли.

На календаре было двадцать девятое октября не важно какого уж года.

Поспешно шагая по зыбкой конструкции, примерно на середине наш герой обнаружил, что на мосту он не один. Навстречу двигались четыре тёмные личности с какими-то предметами в руках. При более близком рассмотрении предметы оказались арматурами. А тёмные личности — неуместно общительными. После краткой, но эмоциональной дискуссии выяснилось, что их интересует его шапка, дублёнка, содержимое бумажника, ну и что ещё там есть в карманах. А в кармане лежит сто грамм золота в виде изделия. Заказчик его из числа людей, что не слишком ладят с законом. Ситуация патовая. Что тут арматура, что там братки с вопросом: давай цепь возвращай или деньги в десятикратном размере! Хрен редьки не слаще.

— А если я прыгну в реку? — спросил ювелир.

— Ну, это вряд ли, — молвил один из разбойников, многозначительно покачав арматурой.

О чём он, надо полагать, потом пожалел.

Предполагаемая жертва перемахнула через перила и исчезла в кромешной тьме. Спустя мгновение снизу донёсся звук всплеска. Злоумышленники остались с носом.

А что наш герой? Благополучно вынырнув, он со всей доступной ему скоростью удалялся от страшного места. Придрейфовав к берегу, спрятался в камышах и примерно полчаса отсиживался. Видимо, опасался погони. Однако невыносимый холод выгнал его из убежища, надо скорее домой! Из-за долгого сидения в воде оказалось, что ноги почти не двигаются... До дома почти километр!

На его счастье, неподалёку проживал его приятель, тоже творческая личность. И опять же, на его счастье, он не спал. Из последних сил заколотив кулаками в дверь друга, наш герой обрёл тепло и понимание. Друг-художник влил ему в горло пол-литра водки, отчего тот немедленно потерял сознание. Пришёл в себя только утром. Друзья выпили ещё несколько раз по пол-литра, после чего ювелир убежал домой. С тех пор налево его не заманишь!

«Чтоб ты сдох»

56

Во времена сухого закона случилась история. В те времена вообще много чего произошло... Иногда даже не верится, неужели такое могло быть? Страна тогда жила по талонам на всё. На соль, крупу, макароны, мыло, сахар, колбасу, консервы, масло. Ну, и, конечно, на водку. Последнее более всего возмущало народ. На этой почве возникали разные казусы.

В одном из районов республики, в отдалённом населённом пункте, некий дед решил принять баню. Величайшее, конечно, событие. Наколот дров, натаскал воды, затопил баньку, да и пошёл париться. Ещё и кот с собой прихватил. Тот был почти ровесник деда, видимо, на этой почве у них был общий интерес к горячему пару. Дело было летом, кто был в поле, кто в городе, кто ещё где. Баба этого деда тоже куда-то испарилась. Потом, конечно, материализовалась. Вернулись и дети разных возрастов, а дед всё парится. Время идёт — дед парится. Щи да каша на столе, а его всё нет.

Кого-то из младших отправили в баню посмотреть да позвать деда. Гонец достаточно быстро удался... Вернулся, правда, тоже очень быстро — и с дикими воплями! Что он орал, никто не понял... Однако, что-то случилось! И ринулись с разной степенью проворства через огород в баню. Там им открылась жуткая картина... На полке лежал мёртвый дед. Над ним клубился сизый угарный дым. На полу лежал умерший вместе с хозяином преданный кот.

Когда через некоторое время ступор прошёл, началась скорбная суэта. Участковый милиционер, участковый врач. Ритуальные услуги, продуктовый магазин. И так далее. Тело деда решили оставить в бане, дабы там же его обмыть и обрядить.

Сложнее было с водкой, купить её нельзя. Только на свадьбу и похороны: два ящика после справки из загса. Поскольку в деревне все друг друга хорошо знают, то все вопросы были вполне оперативно решены. Столько водки да бесплатной закуски... Когда это ещё будет в следующий раз?

Обитый красным кумачом сосновый гроб был прислонён к стене дома умершего. Блины, кисель и кутья уже готовы. В общем, процесс в полном разгаре. Оставалось только подготовить новопреставившегося к странствию в мир иной.

Несколько пожилых родственников с положенными атрибутами отправились в баню. Мужчины закурили, переговариваясь о бренности жизни. Как вдруг раздались душераздирающие вопли! Женщины неслись оттуда сломя голову. Дети расплакались от испуга, глаза мужчин стали похожи на линзы телескопов. Никто ничего не мог понять, с многих лиц как-то сам собой сошёл загар. Наиболее отважные мужчины, переглянувшись и сплотившись, отправились посмотреть, что же произошло? У некоторых на руках повисли жёны, поднялся вой и плач, драма достигла своего апогея. Оставшиеся не могли сдержать слёз. Через минуту, показавшейся многим вечностью, из страшной бани раздался крик... Затем рёв, проклятия и хохот, переросший в гомерический. Все бросились туда. То, что они увидели, трудно описать! В бане, повязав чресла полотенцем, сидел на полке живой дед и нахально курил самокрутку. У его ног, вытянув лапы, лежал на боку дохлый кот. У мужчин от хохота свело животы, некоторые из них повалились на землю. Женщины были и в ярости, и в растерянности...

Конечно, потом всю закуску съели, водку, соответственно, выпили. Тосты были то за здоровье, то чуть ли не за упокой. Неизвестно, что чувствовала бабка, сидя рядом с ожившим мужем. Изрядно выпив, она устроила скандал, обрушив на голову деда проклятия и повторяя: «Чтоб ты сдох!»

Как потом чувствовали себя врач, поставивший диагноз, и милиционер, при этом присутствовавший, история умалчивает. Нетрудно догадаться, что они стали всеобщим посмешищем.

Дед, устав от весёлых подначек, со временем всё-таки помер, отправившись к своему преданному коту. Было ли у деда два свидетельства о смерти или нет, теперь уже никто не скажет.

Ахмет Мурат



Ахмет Мурат — турецкий поэт, автор сборников стихов: «Голова и цвет», «Знание зимы», «Поэт на велосипеде», «Решение сердца», «Прервать песню». Награжден Союзом писателей Турции премией «Поэт года» (2014). Удостоен «Поэтической премии Наджипа Фазия» (2017). Автор переводов арабской литературы, сборников эссе и сборников научных работ. Поэт, получивший докторскую степень по философии и суфизму, в настоящее время является преподавателем Стамбульского университета Меджлиса.

Любить Симбада

Первый пост

Выпей глоток призыва к вечерней молитве
И ощути путь молитвы в морях сердечных:
«Прими, пожалуйста, первое благо и вечное».
Выпей глоток призыва к вечерней молитве.
Месяц родился, земля появилась из тьмы,
Мы спасены.
С первым постом моя дочь в зеркалах хорошеет.
Община стала согласной со скоростью света.
Месяц родился, земля появилась из тьмы,
Мы спасены.
Хлеб наш горячий, Бог справедливый, ты в полном порядке.
Пусть быстрее движется трафик e-5¹ с этим маршем.
Папа ваш снова придет домой чуть пораньше,
Чтобы зажечь очаг и прочитать в ваших лицах:
Хлеб наш горячий, Бог справедливый, ты в полном порядке.

¹ e-5 trafige (Kartaltepe) — дорога к Стамбулу.

Любить Симбада

Ты не народный герой и не лидер студентов,
Не гордость великих ученых, не принц поэтов.
Ты не был им близок, не смотря на то, что
Прошел семь морей,
Как лучший географ и лучший рыбак планеты.

Не героическим был твой арабский меч, а игривым.
Щедро одаривал водного монстра, стриг его неустанно.
Сколько же плачущих женщин ты бросил в портах блудливых,
Но ты не оставил дебатов о трактате имл-и-бурхане.

Ароматом специй востока сказки благоухают.
Не одинаково память рисует Цейлон, Серендиб.
Ни капли крови с твоей бороды не упало,
И масло розы не капало с бороды.
Какие искал ты подводные в юности камни,
Кто знает,
Какой призыв миру в короткую зрелость дарил.
Твой слух был надмирным, ты выдумал воспоминания.
Я не искал высочайших причин для любви,
Я просто тебя любил.

Что такое любовь?

— Что такое любовь? Как сказать о любви?
— Ты как тигр скажи. Тигр любви не таит,
И в глубоких следах на холодном снегу
Слышен голос его в сочетании букв:
«Ask» — любовь, и звучит в отпечатках следов «A» «Se» «Ke».
Звук любви — это знак на снегу, на песке...
— Я услышал. Откуда приходит она?
— Может, с неба, как дни... Из пустыни, из сна...
— Кто достоин любви? Как она выбирает?
— Как сцепляют кольцо за кольцо, наблюдает
Острым взглядом могучего ястреба, ждет...
— Как понять мне, когда будет сладкий черед?
— Мы не знаем, мы можем лишь верить и ждать.
А увидеть ее нам глазами нельзя.
И смешно бесконечно твердить: «Я люблю!»
Громких слов барабаны стучат, гремят, бьют...
А любовь, как орешек — растет и цветет,
Созревают в скорлупке два сердца, как плод.
Если рано найдешь, скорлупу разобьешь, —
Разобьешь и любовь.
И быть может, поймешь,
Что внутри скорлупы жизнь два сердца таит
От того, кто внимательно смотрит с земли.

В мире интересного

Немецкий отец байкальского омуля

60



Иоганн Готтлиб Георги

Этот славный человек... заслуживает
самой высокой похвалы...

*Паллас о Георги в письме Г. Ф. Миллеру
от 4 марта 1771 года*

Иркутский купец, краевед, летописец, художник (!) П. И. Пежемский в статье 1853 года «Рыбная производительность озера Байкал» таким образом охарактеризовал байкальского омуля: «Омуль ... есть белая, крепкая, вкусная, для пищи здоровая и притом главная народопродовольственная рыба, водящаяся в Байкале...» Насельникам берегов сибирского озера-моря она была известна испокон веков. В научную сферу байкальский омуль вошёл только в 1775 году, когда был открыт и описан немецким учёным, состоящим на российской службе, — И. Г. Георги.

Российской науке быть!

301 год тому назад Пётр Великий повелел: Академии наук быть! Последовал его Указ от 2 февраля 1724 года о создании Петербургской Академии Наук и Художеств. Создавалась Академия по европейским образцам с одним важным отличием — финансировала её деятельность казна. Через год умирает Пётр, его дело продолжает вступившая на престол Екатерина Первая.

К этому времени «собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов» российская земля ещё не успела нарождать. Ломоносов даже не начинал учиться. И Пётр, и Екатерина вынуждены были приглашать учёных-специалистов из-за рубежа, из Европы. Екатерина даже издала специальный Указ «О приглашении учёных людей в Российскую Академию Наук и о выдаче, желающим ехать в Россию, нужных пособий». Вот откуда пошли гастарбайтеры, с тех далёких времён. Только это были гастарбайтеры высокого полёта — учёные-энциклопедисты. Они-то и заложили

фундамент российской науки. Отсюда началось подлинное познание России: её географии, природных ресурсов, производительных сил, истории и народов. Что способствовало подъёму, развитию и, в конечном счёте, мощи империи. А рядом подрастали, набирали ума-разума свои будущие академики. Имена навскидку: Лепёхин, Зуев, Крашенинников...

И первым учёным, ступившим на берег Байкала ещё до образования Академии наук, тоже был иноземец — немец Даниэль Готлиб Мессершмидт. Вклад немецких учёных в начальное познание озера огромен. Достаточно назвать таких исследователей как упомянутый Мессершмидт, Паллас, Гмелин, герой нашего повествования Георги, Риттер, Радде, Стеллер...

Конечно же, со временем произошла русификация Академии наук, но первыми российскими академиками были иностранцы. На момент создания Академии в ней числилось полтора десятка академиков, и среди них нет ни одного с русской фамилией.

За «прорубленное окно» в Европу, за реформы отношение к Петру Первому было и остаётся неоднозначным. Как бы там ни было, благодаря Петру произошло становление российской науки. А это событие в истории государства переоценить невозможно. Деятельность детища царя-реформатора продолжается и сейчас.

Иван Иванович Георги

Среди приглашённых иностранцев был и Иоганн Готлиб Георги, наречённый на русский манер Иваном Ивановичем. Годы жизни: 1729–1802. По национальности немец, учился в Швеции, посещал лекции самого Карла Линнея. Считается одним из птенцов гнезда Линнея. Здесь он получил степень доктора медицины и работал фармацевтом.

Непосредственно комплексным изучением Российской империи занимались многочисленные экспедиции. Так, в 1768–1774 годах работала Вторая Академическая экспедиция под руководством Петра Симона Палласа. Паллас, как уже отмечалось, — ещё один немец, выдающийся исследователь Сибири, в том числе и Байкала. Именно он описал эндемичную рыбку голомянку.

Инициатором приглашения Георги стал шведский учёный Иоганн Петер Фальк, уже работавший в России. Ему нужен был надёжный помощник. Первоначально Иван Иванович работал у Фалька, в дальнейшем был откомандирован в сибирский отряд Палласа. Здесь-то перед Георги и была поставлена задача по обследованию озера Байкал.

Так начался двухлетний байкальский период в научной карьере учёного. Путешествуя по Байкалу, Георги описал его берега, включая прибрежную флору и фауну; подробнее своих предшественников описал байкальского тюленя и его промысел; первым описал омуля и гольца-даватчана; собрал сведения о рыбных промыслах; первым высказал предположение о тектоническом происхождении озера; под его руководством была создана первая карта Байкала, основанная на инструментальной съёмке (карта штурмана Алексея Пушкарёва); здесь он познакомился с сибирскими народами, в частности тунгусами (эвенками) и бурятами, всесторонне изучив и описав их жизнедеятельность. Нас в данном случае интересует рыбная тематика в исследованиях Георги.

Омуль и другие рыбы

Георги опубликовано пять книг, все на немецком языке, тогда международном. И только две из них продублированы на русском. До сих пор «немецкая» часть научного наследия учёного остаётся недоступной для русскоязычного читателя.

62

Такая же участь постигла и главную для нас книгу — «Замечания о путешествии по Российской империи в 1772–1774 годах». Издана в Санкт-Петербурге в 1775 году в двух томах. Как можно понять, в первом томе представлена детальная карта Байкала, во втором томе дано описание маршрута от Иркутска до Санкт-Петербурга. Удивительно, эта интереснейшая, судя по всему, книга так и не переведена на русский язык. Отсюда при характеристике ихтиологических исследований на Байкале приходилось пользоваться не подлинным текстом Георги, а различного рода вторичными источниками, к тому же редкими и краткими. Ихтиологические исследования так и остаются белым пятном в георгиведении.

Итак, во время своей работы Георги описал новые виды рыб: из озера Байкал и реки Верхней Ангарты — байкальского омуля, он его называл *Salmo migratorius*, что означает «лосось мигрирующий», и гольца-даватчана из озера Фролихи. Кроме того исследователь значительно расширил список рыб обитателей Байкала, обнаружив окуня, язя, линя и многих других. Таким образом, ихтиофауна Байкала, благодаря его исследованиям, увеличилась до 27 видов рыб. Это почти половина от реальной численности.

После Георги единого мнения о видовой принадлежности байкальского омуля не существовало: ряд ихтиологов считали его видом, другие — подвидом арктического омуля. И что выявлено уже сейчас. Прав оказался Георги. Доказана видовая сущность байкальского омуля. Теперь его официальное латинское имя — *Coregonus migratorius* (Georgi, 1775) или «сиг мигрирующий». Читателям, не знакомым с бинарной номенклатурой, поясним: в скобках приведено имя первоописателя — знак его приоритета и год открытия.

Невозможно обойти вниманием один деликатный научный вопрос. Как известно, иркутскими ихтиологами (семейное трио Смирновых) сделано сенсационное открытие. Используя современные методы генетического анализа, они установили: байкальский омуль по своей сути вовсе и не омуль, а, скорее, озёрный сиг. Поскольку генетических различий между ними не существует. Выяснилось: по фенотипу (внешним признакам) он походит на омуля, оставаясь при этом по генотипу (истинной сущности) озёрным сегом. И что теперь прикажете делать? На какое место в рыбной иерархии его поместить? Пока существует нынешняя морфологическая систематика рыб, он относится, конечно же, — к омулю. А вот когда будет разработана генетическая систематика рыб (это обязательно произойдёт!), тогда у нашего лжеомуля будет иное место в рыбном «табеле о рангах».

Рыболовство у «тунгузов» и «буретт»

Самой известной книгой Георги стала «Описание всех обитающих в Российском государстве народов и их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и прочих достопамятностей», опубликованная на

немецком и русском языках. Первое издание на русском языке вышло в 1776–1777 годах, второе — в 1779-м. Есть и современные репринтные переиздания. Сделаем выписку из последнего прижизненного издания (Санкт-Петербург, 1779 год) относительно рыболовства у эвенков и бурят. Как свидетельства очевидца они приобретают большое историческое значение. Книга в 4-х частях (томах) выложена в интернете. Интересующий нас текст находится в 3-й (эвенки) и 4-й (буряты) частях. Начнём с рыбной ловли у «тунгузов» (эвенков).

Тунгузы (далее длинная цитата) «для приволья в рыбной ловле странствуют во все лето от одной реки, озера или иных каких вод к другим; и ходят при том на звериной промысел, когда задумается. Для рыбной ловли больше, нежели ради зверинаго промыслу, живут в округах, какия они между собою для всякаго поколения определили. На воду пускаются они в небольших лодках (Яу), состоящих из легкой деревянной основы, и таких же закраин, а обшитых берестой, и при том так плотно, что вода ни как пройти сквозь оную не может. Такие их лодки в низу несколько плоски, с обоих концов остры, длиною от 1½ до 3 сажен, вверху шириною от 1½ до 2 футов, тяжестию иногда меньше, а иногда и больше пуда, но со всем тем довольно крепки, и можно на них не токмо одному, но четырем и пяти человекам ездить безопасно по рекам и большим озерам, да и на самом Байкале, далеко от берегов. Веслы походят на лопаты; а гребут то тем, то другим. Бродники, неводы и сему подобная рыбацья снасть, им неизвестна. Рыбу ловят удами, которыя опускают в воду через край идущей на гребле лодки, да и трехзубчатыми, железными вилами (Керонки), которых концы, длиною в палец, имеющие зазубрины, отстоят один от другаго на палец, и прикреплены к удилу длиною в сажень. В ночное время ложатся они с зажженным подгнетом на брюхо на утесистых местах берегов, или разъезжают в своих лодках по воде. Искуство их столь велико, что рыба, которую заприметят и достать могут, редко от вил их уходит. Когда осенью бывает омоли ход из Байкала в некоторыя реки, то делают они неподалеку от берега из прутьев сплетенную городьбу, и ставят в реке наискось, а сами стоят позади оной в воде и выбрасывают на берег голыми руками пригоняемую к городьбе по причине великаго множества, и тут останавливающуюся рыбу».

О рыболовстве у «буретт» (бурят) Георги пишет: «Рыбною ловлею занимаются, только в крайней нужде». И при описании пищи бурят вновь подчёркивает: «...но рыбу едят только от нужды».

В описании Георги рыболовства у эвенков остаются без ответов два момента. Первый. Понятно, что такое «вилы» (острога) и «городьба». А что за снасть такая — уда, которую опускают в воду через край идущей на гребле лодки. Здесь явно чего-то не хватает. Причём главного — описания приманки. У другого коренного сибирского народа — кетов — была похожая снасть. За лодкой тянули леску с приманкой. Она представляла из себя примитивный крючок с клочком светлой оленьей шерсти или красным лоскутком. Скорее всего, так же действовали и эвенки. Это прообраз таких современных способов рыбной ловли как дорожка и троллинг. И второй момент. Совсем недавно Георги дал омулю видовое название «*migratorius*», а здесь переиначил его на «*qreqarius*», т. е. стадный. Трудно найти этому действию хоть какое-то логическое объяснение.

Для лучшего понимания текста переведем старые меры длины и веса на современные: сажень — 2,1 м; фут — 30,5 см; палец — 2 см; пуд — 16,4 кг.

По делам его

64

Научные интересы Георги включали химию, минералогию, ботанику и этнографию. Одним словом, был натуралистом широкого профиля. А ещё он занимался медицинской практикой и считался одним из лучших врачей северной столицы. За вклад в науку академик Георги был награждён многими наградами, включая самую престижную из них — золотую табакерку полученную из рук Екатерины Второй. Но, пожалуй, самый оригинальный вклад в увековечение памяти Ивана Ивановича Георги внёс немецкий ботаник Карл Людвиг Вильденов. Одно из привезённых мексиканских растений он назвал «георгином»!

На историческую родину Иоганн Готлиб Георги не вернулся и, похороненный в Санкт-Петербурге, навсегда остался на своей новой родине — в России. Не зря Георги называли Иваном Ивановичем — он принял не только российское подданство, но и православную веру. И последнее. На верхней части здания бывшего Восточно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества в Иркутске (сейчас здесь находится краеведческий музей), наряду с восемнадцатью именами других крупнейших исследователей Сибири выбита и фамилия первооткрывателя байкальского омуля.

Юрий Неронов
рыбовод-биолог

80 лет Победы

Семён Метелица



Метелица Семен Борисович (Соломон Борисович Ицкович) — поэт, прозаик, драматург. Родился в 1912 году в г. Улан-Удэ. Работал чернорабочим, землекопом, молотобойцем, формовщиком-литейщиком на заводе «Механлит». В годы Великой Отечественной войны прошел дорогами войны Дальний Восток и Маньчжурию, участвовал в разгроме Квантунской армии. За боевые заслуги награжден орденом Красной звезды, медалями. Принадлежит к старшему поколению писателей Бурятии. Публиковаться начал с 1930-х годов. Литературное наследие писателя отмечено сборниками стихов: «Дороги» (1940), «Сердце в пути» (1973), книгами рассказов и повестей: «День» (1941), «Селенга» (1958), «Огонь на ветру» (1959), «Красная птица» (1963), «Старый друг» (1982). Известен и как драматург, автор пьес «Межи» (1940), «Забайкальская быль» (1958). Умер в 1974 году.

Город мужчин

главы из неоконченного романа

Глава первая

Самурай. Третья рота. На плацу. Старшина Куржумов. Командиры

Ветер хлестнул из-за кордона как всегда неожиданно, среди ясного декабрьского дня. Этот ветер не знал кордонов и застав. Он зашурганил в безлюдной Маньчжурской степи и, вдоволь поизгалявшись над ее бугрянистой, каменной пустошью, вдоль и поперек исполосованной броневым поясом Квантунской миллионной армии, закидав каменным мелким градом крошечные позакордонные белоказачьи станицы и деревеньки бывших русских, что мельтешили в чужеземье под Хайларом, прыгнул через заставу на Отпоре, до костей ознобив пограничный дозор, и, повернув от последней станции Мациевской на Карымской ветке влево, черным вороном распластался по урочищу Тавын-Тологой.

Не насытившись разбоем на крутоголовых сопках, не зная, на чем сорвать свою злобу, позакордонный ветер пал в узкую долину расположения девяносто четвертой дивизии Забайкальского военного округа.

Дивизия жила в земле по самые брови. Только крошечные оконца, окантованные деревянными и земляными раструбами, позакиданные прошлым годом бурьяном,

выглядывали в степь, пропуская в подземные казармы мутновато-белый свет, словно просквоженный через желтый ил.

Третья рота девятого полка стояла первой на пути чужого ветра.

66

На прибитом до гранитности плацу, перед расположением третьей роты, разношерстной и разновозрастной громадой колыхался солдатский строй. В тот день он еще не был в полном смысле солдатским. На плацу стояли новобранцы ноябрьского призыва 1941 года. Учителя, бухгалтеры, слесари, колхозники, трактористы, сталевары, кузнецы, музыканты, артисты и люди прочих и прочих самых неожиданных профессий. Все они, в этот злобный час разгулья маньчжурского ветра, были на одно лицо: синие, небритые, удивленные, ошеломленные, безмерно усталые и голодные, до печенок продрогшие. Одетые в самое что ни на есть шмутье, благо зная, что его и так и эдак сменят в части и ни к чему из семьи брать добрую одежду. Она пригодится для рынка — война уже показала, что она такое. Все эти новобранцы топтались на плацу перед третьей ротой с единой мыслью: тепла, хлеба, сна. После этого хоть к черту на кулички, хотя где еще есть такие кулички чертовы, в которые их завезли.

Старшина третьей роты Егор Куржумов гоголем ходил перед так называемым строем. Хромовые сапожки, чуть приспущенные гармошкой, ладная двубортная офицерская шинель, из-под которой виднелась меховая жилетка, ремень с надраенной до блеска пряжкой, стягивали его легкую фигуру на редкость молодцеватого кремнистого службиста. Офицерская шапка была сдвинута чуть набекрень, а белокурый чубчик словно специально назначался подразнить коченевших новобранцев и посмеяться над лютым, свистящим в уши, степным маньчжурским хозяином этих мест — позакордонным ветром.

В душе Егор Куржумов целиком сочувствовал новоприбывшим, но понимал, что своей статью, своим равнодушием к погоде он обязан поднять дух припущих от обстановки новобранцев. Не их первых, не их последних встречал и встретит на этом плацу Егор Куржумов.

Страна собирала в кулак все свои силы. Бои шли уже за Москву, под Москвой, а тут, как чирей на живом здоровом теле, висел самурай. Вот он, взгляни с вершины вон с той сопки в окуляр снайперского прицела и увидишь Маньчжурию, а ночью, при звездах, увидишь огни ее — колючие, тревожные, мерцающие, страшные, жаждущие, рвущиеся вслед за этим ветром через заставу на Карымскую ветку и дальше на простор Родины. Егор Куржумов третий год здесь, в земле по уши, а все так и не привык к этим закордонным огням, но ни в письмах, ни в разговорах с лучшими, надежными однополчанами обмолвиться хоть словом об этом затаенном страхе себе не позволял. В себе это, в себе, а наружу, вслух, словом, делом, жестом, да разве он не старшина по седьмому году, старослужащий, сверхсрочник по доброй воле? Свои многие армейские годы провел Куржумов в соседстве с разнообразнейшим хозяйством, обозначающим его обязанность главы роты. В том хозяйстве было все — от иголок-ниток до щеток для обмундирования и обуви, шапок, полотенец, противогозав и прочей необходимой в повседневной жизни солдата мелочи. В этом океане вещей отвоевал старшина узенькую полоску, прикрытую плащ-палаткой. Полоска эта называлась койкой и была повторением казарменных двухъярусных нар.

— Не журиться, соколики, не журиться. Выше головы, братики. Ждет вас развселое дело — солдатская служба, да в такое немилое время, как сейчас. Приняли, соколики?!

Соколики молчали. Да Куржумов и не ожидал энтузиазма. Он расхаживал вдоль строя и всем своим видом старался поднять настроение стоящих перед ним людей. Ежившихся от холода новобранцев он жалел, не имея права показать этого. С первого дня обоюдной встречи он обязан был внушить им, что они солдаты. Да только ли внушить?!

Но на что злился в этот час Егор Куржумов, так это на командиров, которые словно бы и забыли о новоприбывших и не спешат на плац. Старшина то и дело поглядывал на дорогу, что вела от трех ДНС или, проще сказать, домов начальствующего состава — трех двухэтажных на всю округу, от Аргуни до Борзи, обглоданных ветром строений, где разместился штаб тридцать шестой армии.

— Вы, соколики, не под пули немецкие приехали, а в теплое расположение третьей роты девятого полка девяносто четвертой непромокаемой. Приняли, соколики?! То-то же.

А что «то-то же», Куржумов не знал. Но, язва их дери, командиры не идут, и ему надо что-то говорить, поднимать дух своих новых подчиненных, личного состава, так сказать. Обязан, и все! А что сказать, да в такой передуй проклятый? Как его, дух-то, поднять?

— У нас, соколики, этот ветерок самураем называется. Сами понимаете — не Ялта. Хотя, между прочим, солнечной погоды в нашей Даурии, а здесь особенно, заметьте себе, соколики, больше, чем в той же самой Ялте, или даже, как читал я, в Швейцарии. В Швейцарии! — повторил Куржумов с большей, чем всегда, лихостью, сдвигая офицерскую шапку с неопущенными ушами набекрень и обнажая свой начисто закуржавевший и уже торчком стоящий белокурый чубчик над высоким лбом, перекрещенным тремя слишком ранними морщинами.

— Вопросы есть? — старшина остановился на середине строя и вглядывался в лица. Со стороны можно было подумать, что он отыскивает знакомых, земляков.

Вопросов не было. Да и о чем спрашивать? А может быть и хотелось спросить, даже наверняка хотелось, да вот зубы стучат от холода, да и успеется — не на день прибыли.

Всего три часа назад на станции Мациевская, где у атамана Семенова в дикие времена его разгула в Забайкалье находился застенек — невыразимо страшное место пыток и мучительнейших казней партизан и красноармейцев, попавших в плен к атаману. С этой самой, в те годы крошечной железнодорожной станции на три дома — последней точки на Востоке России, перед которой стояла только застава на разъезде Отпор, — с этой станции три часа назад, громыхнув окованными дверями, распахнутыми на обе стороны, из обжитых теплушек с железными печами, из обжитого двухнарного тепла вытек вот этот поток людей, сразу встреченный закордонным «самураем» и сразу ошеломленный легендарным Отпором и совершеннейшей тишиной и пустынною.

Оставив многодневный свой кров на колесах, с которым за дальний путь и сродниться успели, и наговориться о войне и доме, — с этих теплушек шагнули они в угрюмую, простреливаемую всеми ветрами Даурскую степь.

В утреннем полусумраке ноября, на пятый месяц войны, уже успевшей изредить мужское население страны, немало пощипавшей и женское сословие, новоприбывшие знали, что их путь лежит на Дальний Восток. Но почему на Восток? Почему не

на фронт? Или уже и здесь порох и кровь на подходе? Но ни пороха, ни крови они не встретили. А встретили...

— В колонны по четыре становись! Равняйся! Смирно! Направо! Прямо шагом марш!

И заколыхался длиннющий человеческий поток по степи. Чертыхаясь в полупотемках, натываясь на спины впереди идущих, притираясь друг к другу домашними мешками с последними домашними недоедками, мелко поругиваясь и ворча на тех, кто наступал на пятки, словно в вязком сне, из которого не выскочить, не выползти, заколыхалась громадина из человеческих судеб навстречу неизвестному.

Егор Куржумов и не помышлял отыскивать знакомых и земляков. Он сам себе на этот раз удивлялся: перед ним стоял народ на одно лицо, и если он что-нибудь понимает в людях, то кроме как одинокой угрюмости ничего не находил в охолодавших и голодных новобранцах. Раньше, до войны, да и перед ней, придут призывники — смех, шутки, а то и пляски. На вопросы не успеваешь отвечать. И глаза озорные, задорные, и походка, и грудь, и голова — все без пяти минут солдатское, а здесь... Да боже мой, неужто так быстро война излохматила сердце народа, неужто так быстро обугрюмился в тылу человек? Что же это происходит, и полгода нет войне, а немец под Москвой. А новобранцы такие разновозрастные, чуть не деды с внуками, а вид такой, аж в горле щиплет.

Егор Куржумов начинал терять не только старшинское терпение, но и годами выработанную службистскую молодцеватость. Вроде бы зашел в голодную избу с сытой мордой и начал куражиться. Тихий, вкрадчивый страх прошелестел в душе старшины и где-то на краешке ее, зацепившись за что-то прочное, знакомое, неисточимое судьбой и человеческими бедами, отшлифованное службой, Уставами и Наставлениями, начал твердеть и превращаться в острую ненависть, совсем по-новому чувствуемую ненависть, которая не вызывалась никакими ежедневными политинформациями. Сейчас, в этой степи, Егор Куржумов — старшина третьей роты — один бы пошел на сотню фашистов с гранатой, с пулеметом, хоть с голыми руками, с одной только ненавистью к врагу, топтавшему родную землю. И так жалко стало Егору Куржумову всех, стоящих перед ним, что надел он свою офицерскую шапку, как следует по Уставу, опустил у шапки уши, завязав вязочки под крутым подбородком.

— Не тужите, не тушуйтесь, соколики, не тужите! Вместе нам служить. А немца, что немца... Побьем его. Победа, как пить дать, будет за нами, соколики!

Старшина снова заходил вдоль строя, и от слов, сказанных им таким голосом и тоном, каким разговаривают по утрам сосед с соседом, что прожили бок о бок всю жизнь, ему стало веселее и проще с этими людьми. Нет, перед ним не одноликая угрюмость, и это вовсе не оскребыши страны, перед ним люди, хоть и не чуявшие пороха и страшных битв неожиданной, как все думали, войны, перед ним люди, готовые к этим битвам и только не знающие или призабывшие армейский труд. Тут другое дело. Отцы-командиры на месте, да и он — Егор Куржумов, на Халхин-Голе бывший самураев, тоже кое-чему может научить новоприбывших. Одним словом, друзья по оружию прибыли.

— А что, соколики, южники есть среди вас?

Но строй словно языка лишился.

— Сибиряки мы здесь. Краснояры, — крикнул кто-то из середины строя.

— Пошто красноярцы? Забайкальцы есть. Тайшетцы. Улан-Удэнцы. Иркутские. Всякие, — подытожил мерзлый голос молодого парня, одетого, не в пример другим, в добротное драповое пальто с каракулевым воротником, обутого в неподшитые и в неразношенные черные валенки с легкими отворотами на голяшке, с рюкзаком за широкими плечами, лямки которого он частенько поправлял то правой, то левой рукой, затянутыми в кожаные, на меху, перчатки. При этих движениях старшина заметил сверкающие на правом его запястье позолоченные часы.

«Вырядился», — ухмыльнулся про себя Куржумов, но остановился перед широкоплечим и рослым парнем:

— Почему шапку не развязали? Уши отвалятся.

— У вас, товарищ старшина, не отваливаются, — парень улыбнулся.

— Так я же опустил уши у шапки.

— А мне и так ладно.

— Откуда будете?

— Как вам сказать, товарищ старшина.

— А как можете, товарищ красноармеец.

— Пожалуйста. И новосибирский я, и абаканский, и иркутский, и улан-удэнский, и черниговский, и суздальский, и читинский. Здесь и прихватила меня мобилизация.

— Всяческий, значит, — засмеялся Егор Куржумов.

— Нет, российский только, — улыбнулся парень. А строй, словно оттаяв душой и телом, громыхнул смехом, прибаутками.

Старшина совсем повеселел. Свойские, и вовсе не угрюмые, и вовсе не напуганные диким ветром приманьжурья, и всем унынием беспросветного неба, и каменным безлюдьем степи.

— Что российским, это точно. А все-таки?

— С Байкала я.

— Ты скажи, земляк. Оймур знаешь?

— Раскапывал и там прошлым летом.

— Раскапывал? Кого же вы раскапывали?

— Да я же говорю, археолог я.

Старшина развязал тесемки под подбородком, и мгновенно шапка приняла тот первоначальный вид, что придавал ему еще несколько минут назад молодцеватость службиста.

— Во-первых, вы ничего еще не говорили, а во-вторых, это как понять профессию вашу, товарищ... — и вдруг Куржумов, круче сбив набекрень шапку, крутнулся на каблуках и, перекричав ветер, скомандовал: — Смирно. Равнение налево! — к строю новобранцев шагали офицеры.

Командир девятого полка майор Сырников Никодим Арсентьевич был грузноват для своих сорока лет. Ременная сбруя с наплечными ремнями, затянутый до отката поясной ремень, пошитая полковым портным шинель с подставными плечами, ватой подбитая грудь, по крайней мере, лет на десять молодили Сырникова. На гражданский взгляд, он производил гипнотизирующее впечатление: картинка на обложке журнала, образец аккуратности и веселой бодрости, — о важности и говорить не стоит! Строевая выправка и парадная внешность офицеров полка означала для майора своеобразную визитную карточку и являлась для него чуть ли не самым

значительным показателем готовности к выполнению самых ответственных задач по боевой и политической подготовке. Полнощекое, румяное и очень круглое лицо с мясистым подбородком и ямочкой посередине смягчало пронзительный и только вперед устремленный взгляд его цепких глаз цвета тусклой стали. Большой рот с властными складками, глубоко западающими и теряющимися у краешек губ, из которых верхняя была слегка коротковата и потому легкомысленно обнажала очень белые зубы. Эта черта его волевого лица напоминала улыбку, а когда майор суровел, казалось, что он скалится. Походка комполка отличалась легкостью, чеканностью и такой твердостью, по которой сразу угадывался строевик, кадровый службист с раз и навсегда усвоенной и непоколебимой требовательностью к себе и своим подчиненным. И только левая рука, слегка выключенная из общей гармоничности и чеканности его походки, намекала на скрытые странности майора.

Рядом с ним, на полголовы выше, шагал батальонный комиссар Никита Андреевич Подпалов. Поджарый, в длинной кавалерийской, далеко не свежей шинели, что всегда вызывало еле сдерживаемое раздражение коренного пехотинца Сырникова. Раздражала его и нелюбовь комиссара Подпалова к амуниции и особенно к заплочным ремням. По этому поводу комполка, случалось, про себя усмеялся: «А еще кавалерист». Да и на самом деле, редко какой кавалерист не носит перекрестных ремней, тем более, если припомнить, без них и клинок теряет свой эффект. Не терпел Подпалов и накладных ватных плеч и ватной округлости груди шинели. Потому она на комиссаре казалась обвислой. Никифор Андреевич Подпалов был на восемь лет старше майора Сырникова. Прошедший три войны кавалеристом в дивизии Рокоссовского, с которым вместе воевал еще на гражданской в Пятой Кубанской бригаде, а затем до недоброй памяти 1937 года стоял на Карымской ветке в Даурии, откуда его любимый командир в одно разнесчастное утро сгинул в неизвестность, — и вот совсем недавно объявился уже командующим армией, защищающей Москву.

Вслед за Рокоссовским был уволен и комиссар кавполка — старший политрук Подпалов, так что вплоть до первого дня фашистского нашествия Никифор Андреевич работал на гражданке преподавателем рисования и черчения.

И вот он снова комиссар полка, только пехотного, и на петлицах прибавилось по шпале. Много раз порывался батальонный комиссар Подпалов написать хоть несколько слов Константину Константиновичу Рокоссовскому, и вовсе не за тем, чтобы напомнить ему о себе или выпроситься под его высокую руку на действующий фронт, а так — от ликующего своего сердца крикнуть о счастье снова видеть в боевом строю прекрасного человека, блестящего командира.

Собирался-собирался, да все считал, что теперь уже прославленному полководцу не до него. Может подумать, что старый сослуживец своим напоминанием о себе намекает о молчаливом желании бежать с опостылевшей Маньчжурии в действующую армию. Воздерживался от письма комиссар Подпалов еще по той причине, что боялся растравить вряд ли зажившую рану души своего любимого комдива. А может быть, и ушел из памяти Рокоссовского один из его любимых комиссаров, старший политрук Подпалов... Мало ли служило бойцов и командиров под началом ныне знаменитого командарма, и что будет, если все они, кто остался в живых, станут напоминать о своем соратничестве? Нет, воздерживался и воздержится от такого напоминания Никифор Андреевич Подпалов, да к тому же и здесь он на своем месте, и здесь каждую минуту надо держать палец на курке. Но с длиннополой шинелью

он не расстанется и в пехоте. Она да еще сабельный шрам от левой скулы до пригубья — самые драгоценные приметы памяти их совместной боевой судьбы в былые годы.

Девятый полк девяносто четвертой дивизии, которая в первые дни войны сформировалась в Красноярске, а затем пополнялась в Забайкалье, Подпалов принял вместе с Сырниковым, и за эти более чем полгода они вроде бы притерлись друг к другу, как патроны в одной обойме. Комиссар в душе был доволен железными устоями характера строевика Сырникова, а что до его любви к парадности и строгости, то это, по мнению комиссара, делу не мешает. Девятый полк пока на всех инспекторских проверках, учениях, от полковых до дивизионных и армейских был только на первом месте. Так что некоторые странности, службистскую неумолимость майора батальонный комиссар Подпалов принимал за должное и даже гордился своим комполка. Правда, сейчас лучшие из лучших личного состава девятого, как и из других полков дивизии, ушли в маршевые пополнения на фронт, и вот эти, что стоят на плацу перед третьей ротой, должны стать достойной заменой ушедшим.

Равные по званию, по боевому опыту командир и комиссар девятого большую часть суток проводили на ногах. Как правило, до подъема, а то и глубокой ночью совместно намечали маршруты и задачи нового дня. Но еще ни разу они не сидели вместе за дружеским столом, ни в праздники, ни в будни. Так получалось само собой. Общие заботы определяли главную армейскую суть — боевая и политическая подготовка. У Подпалова еще на плечах партийное и комсомольское дело. Вместе с отбывшими на фронт ушли некоторые политработники, парторги, комсорги. Теперь надо стремительно латать бреши — воспитывать, принимать новых в партию, комсомол. Среди новобранцев очень мало коммунистов и комсомольцев.

Подпалов вне прямых обязанностей отличался скупостью слова, и это очень по душе было майору Сырникову. Командир не жаловал вниманием краснобаев-политиков. Речь майора отличалась строгостью и краткостью воинских Уставов и Наставлений. В то же время командир полка знал, что в необходимую минуту его заместитель по политчасти найдет что сказать офицеру и красноармейцу. Комиссар знал это свойство первого человека в полку и никогда не завязывал с ним разговор на морально-этические темы. Таким образом, боевая и политическая работа в девятом полку текла рядышком двумя руслами, то сплетаясь в один поток, то разветвляясь во множество больших и малых повседневностей. Они не выказывали друг другу нередко возникающие противомнения, не давали прямых советов друг другу, но знали одно — девятый был и должен оставаться только правофланговым в девяносто четвертой во всем: от котлового довольствия, красноармейской художественной самодеятельности до строевой подготовки и боевых стрельб.

Шага на два позади, ровным строем, во всем подражая командиру полка, шли в строгой торжественности батальонные и ротные командиры. Среди них особым уважением у майора пользовался командир третьей роты лейтенант Мерзлов. Почти вся его боевая семья попала в маршевый и отбыла на фронт. Еле-еле отстоял лейтенант старшину Егора Куржумова. Старшина, боготворивший своего комроты, упрашивал лейтенанта отпустить, прямее сказать, рекомендовать к отправке на фронт. Просьбу старшины поддерживал и майор. Но лейтенант Мерзлов, во всем равняющийся на командира полка, неожиданно пошел против его воли и в свою очередь выдвигал весомые аргументы, чтобы оставить старшину, обещая подготовить ему

замену из помкомвзводов и уж потом, с новым составом будущих фронтовиков, расстаться со своей опорой — Егором Куржумовым.

Майор в душе понимал своего любимца. Без Куржумова третьей роте очень трудно будет удерживать передовые позиции в полку и дивизии. О таком старшине мечтает каждый командир роты. Таким образом, по «случайным» обстоятельствам в списке отправляющихся на фронт фамилии старшины Куржумова не значилось. Комполка, отправляя донесение на утверждение командиру дивизии, имел на этот счет некоторые сомнения в правильности своего решения.

Подполковник Замотаев, приняв командование дивизией в Красноярске, знал Егора Куржумова еще по старой службе. Комдив знал, что такое Егор Куржумов не только для роты, но и для полка.

Темнее тучи ходил старшина в те дни. В сердце словно что-то треснуло, вся служба, да и вся жизнь показалась напрасно прожитой, а лейтенант Мерзлов вместе с командиром полка оказались бездушными, не умеющими ценить его настоящую преданность своему старшинскому делу и считают его, Егора Куржумова, недостойным чести встать в ряды фронтовиков. Да как же так могло случиться, что бойцы, им выученные, им отшлифованные в отличников боевой и политической подготовки, ушли бить фашистов, а он остался в резерве...

Крутнувшись на каблуках, старшина Егор Куржумов строевым шагом, как натянутая струна, шел навстречу офицерам. Майор и сопровождающие его офицеры остановились в пяти шагах от неровного строя. Старшина приложил руку к виску:

— Товарищ командир полка, прибывшее пополнение построено для смотра. Докладывает старшина третьей роты Куржумов, — сделав шаг в сторону и круто повернувшись кругом, старшина замер. Посиневшая оголенная рука старшины, казалось, примерзла к заиндевевшему виску, на котором неожиданно проступила испарина.

Майор Сырников секунду любовался Куржумовым, сдернул с правой руки перчатку, взял под козырек и шагнул вперед:

— Вольно! — властно выдохнул командир полка.

Строй новобранцев зашевелился, закашлялся, затопал на каменном плацу. Еще минуту назад люди, словно замерзшие от команды старшины и ожидавшие чего-то невероятного, неожиданного, забывшие и мороз, и ветер, теперь с откровенным любопытством разглядывали свое начальство. И все оказалось не таким, каким ожидалось. Командир полка и тот, что с двумя шпалами, высокий, в длиннополой шинели, и все стоящие на диком ветру их будущие командиры показались такими будничными, такими серыми, что бесконечные разговоры о предстоящей службе, что велись в теплушках в период следования к месту назначения, развалились как детские мечты о путешествии в неизвестную страну, которая на деле обернулась этой хриплой командой — «Вольно!».

Они смотрели на майора, он разглядывал их. Он словно лезвием прочертил по строю сухими прокаленными глазами, и кривая усмешка, спрятавшаяся в ямочке мясистого подбородка, не скрывала явного его недовольства и даже разочарования представшим перед ним зрелищем. Вот с этой толпой разновозрастных, посиневших, худых, небритых ему предстояло восстанавливать прежние передовые традиции девятого полка. Было от чего появиться его кривой усмешке. Майору Сырникову показалось, что у него сразу заболели зубы. Все начинать с нуля. Но ведь

и в шестьдесят четвертом, и в сто пятьдесят восьмом полках сейчас принимали такую же толпу. А что ему до других полков? Он отдал на фронт всю лучшую третью роту, всех снайперов, лучших пулеметчиков из других рот. Хотел того или нет, а получилось так, что отлично подготовленный личный состав батальонов полка отправлен на фронт. Командир полка несомненно гордился сложившимся положением. Еще несколько дней назад, когда шло формирование на фронт, командир дивизии Замотаев после учений и проверочных стрельб отдал приказ составить костяк пополнения фронту главным образом из его передового полка. Командир понимал, что предстоит огромная работа: в предельно сжатые сроки восстановить утраченную славу полка, да восстанавливать-то ее придется с людьми, далекими от воинской науки.

Командир полка отвернул взгляд от строя новобранцев, заметил рвущийся над ушедшей в землю казармой третьей роты длиннющий, вылинявший и заново покрытый огромными меловыми буквами транспарант: «Добро пожаловать, молодое пополнение!» и сухо бросил старшине:

— Отставшие есть?

— Никак нет, товарищ майор! — перекричал ветер Куржумов.

— Больные?

— Жалоб не подано, товарищ майор!

— Лейтенант Мерзлов, примите людей, накормите, организуйте санобработку, решайте вопросы с обмундированием — и в карантин.

Командир роты лихо козырнул и, чеканя каждое слово, повторил приказ:

— Есть принять людей, накормить, организовать санобработку, решить вопрос с обмундированием и в карантин. Прикажете выполнять, товарищ майор?

Сырников махнул рукой, дав понять, что встреча с новобранцами завершена, но в эту минуту к его плечу как бы невзначай склонился батальонный комиссар.

— Смирно! — во всю силу голосовой возможности подал команду лейтенант Мерзлов. — Слушай мою команду!

— Отставить! — словно выстрелил командир полка.

— Отставить! — повторил командир роты.

— Действуйте, товарищ Подпалов, — тихо обратился комбат к батальонному комиссару.

Батальонный комиссар шагнул навстречу строю.

— Здравствуйте, дорогие товарищи — будущее доблестной Красной Армии! С благополучным прибытием вас!

Строй, почувствовав гражданское обращение, зашевелился. Уставшие и промерзшие на диком ветру люди в эту минуту желали только одного — поскорее укрыться от ветра. Подпалов отлично понимал состояние новобранцев. Понимал и уж наверняка знал, что минуты, проведенные под «самураем», скоро покажутся будущим красноармейцам сущим пустяком против того, что им предстоит вынести, готовясь к суровой схватке с фашистами. И потому речь комиссара была краткой, но проникновенной.

Длиннополая шинель вилась вокруг ног комиссара. Она хлесталась с тою же неистовостью, что плакат на казарме. Майор Сырников еще раз взглянул на плакат. «Умудрились! Добро пожаловать, молодое пополнение! Перестарались, черти!» — чертыхнулся про себя комполка. Но ведь это же его, комиссара полка, люди старались.

Майор знал, что политработники третьей роты все эти дни приводили в порядок расположение своей роты, где было решено разместить пополнение на все карантинное время. В казарме, врытой в землю, мылось, скреблось, развешивалась наглядная агитация, выпускались «Боевые листки». Прихорашивалось все, что мог заметить взгляд нового человека.

— Товарищи! — негромко, но торжественно продолжал Подпалов. — Я вас, друзья, не случайно назвал будущими бойцами героической Красной армии. Сейчас, здесь, перед вашим армейским домом, на этом мерзлом гранитном плацу, утрамбованном ногами тех, кто ушел из нашей части на передовые позиции фронта защищать Родину от фашистской нечисти, вы еще не бойцы, вы — представители нашего героического тыла, который доверил вам великую честь с оружием в руках защищать родное Отечество. Война, навязанная нам фашистской Германией, окончится полным крахом для нее. Дорогие друзья, мы не встретили вас парадом. Не скрою, вас ждет суровая служба в этой, как вы сами заметили, угрюмой степи Даурии. Наша дивизия грудь о грудь стоит против лучшего друга бесноватого фюрера, готового в любую минуту ударить нам в спину всей японской военщиной. Знайте, впереди нас только горстка воинов-пограничников и ничейная полоса. Враг боится нас. Мы с вами имеем честь защищать восточные ворота Родины. Я уверен, что вы ее оправдаете! — батальонный комиссар Подпалов сделал шаг назад, встал рядом с командиром полка.

Майор Сырников сделал знак лейтенанту Мерзлову. По его команде строй развернулся и медленно стал втягиваться, исчезать под землей в расположении третьей роты.

Глава вторая

Комдив Замотаев. Старший батальонный комиссар Нечипорчук. Начальник штаба Кириллов. «Шушера»

Командир девяносто четвертой дивизии Забайкальского военного округа Георгий Федорович Замотаев уже более полугода обживал свою просторную землянку: с кухонкой и даже с сенцами и двумя ступенями крылечка, ведущими вниз. Он так сжился со своим уютом, что на учениях тосковал в командирской палатке о своем топчане в земляной нише, о печурке, втиснутой в уголок горенки, а главное, тосковал о крошечном радиоприемнике «Рекорд».

Конечно, при штабе дивизии, в полках были рации. Да и при комдиве был безотлучно радист первого класса Гоша Красиков. Но разве скажешь им: «Поймайте Иркутск». А он сейчас, в утренние сумерки, после сводки Информбюро, перевел барашек «Рекорда» на волну Иркутска. Как всегда, в этот час — по иркутскому времени на час раньше, чем по даурскому и читинскому, — передавали утренний концерт. Затаив дыхание, слушал комдив дорогой голос Кати, исполняющей арию Аиды. Ему казалось, что она видит его сидящим здесь, глубоко под землей, у раскаленной печурки, в глухой даурской степи. Он был убежден, что она поет для него.

Он боялся шелохнуться: как застала его «Аида» склоненным над «Рекордом», так и остался он неподвижен до последнего звука арии. Да, Катя бесподобна. Он явно испортил ее судьбу, затаскав по гарнизонам, оторвав от большой музыки, не говоря

уж о том, что помешал ей закончить консерваторию. За двадцать лет совместной жизни Катя не обмолвилась ни единым словом упрека, правда, перед отъездом в Даурию он заметил в ее глазах что-то упрекающее. В этих до комка в горле любимых и безмерно дорогих глазах не было слез, только чуть подрагивали пушистые шелковые ресницы да краешки губ скорбно складывались в прощальную улыбку.

Катя! Катенька! Катюша! Я слушаю тебя. Ты же здесь, в землянке! И Мишка рядом с нами. Нет, Мишка воюет. Он уже младший лейтенант и стоит под Москвой со своим взводом истребителей танков. Мишка стоит под Москвой, а он, командир дивизии подполковник Замотаев, сидит в землянке, в мирной и теплой тишине, и слушает, как их мама поет «Аиду». Все совершенно противостоестественно, чудовишно.

Двадцать третьего июня 1941 года отец расстался с сыном в Бауманском райвоенкомате, и в тот же день, уже в звании подполковника, Георгий Федорович Замотаев вместе с женой уехал на Восток. Она осталась в Иркутске. Он принял дивизию в Даурии.

— Георгий Федорович, доброе утро! — в землянку вошел комиссар Нечипорчук.

Подполковник не шевельнулся, оставаясь в том мучительном сне наяву, что только что пережил, как закончились последние звуки арии. Он еще слышал Катю.

— Доброе утро, Георгий Федорович!

— А, доброе, доброе! Садись, Ефремыч. Прости... слушал я здесь... Ты из шестьдесят четвертого?

На пороге горницы из кухонки появился ординарец. Бесшумно, не касаясь ногами земляного утрамбованного пола, прошелестел к столику, заваленному папками и картами, бесцеремонно сдвинул их в сторону, поставил дышащий ароматным мясным паром котелок на стол рядом с тарелкой.

— Завтракать, товарищ комдив.

— Спасибо, Лукич, но что-то того...

— Завтракать! — строго сказал Лукич. — Здравия желаю, товарищ старший батальонный комиссар, а я и не углядел, как вы...

— Плохо смотришь, Лукич, за комдивом. Как бы япошки не объявились ненароком...

— Японцы? Не, товарищ старший батальонный комиссар, покуда вы рядом, япошки нам не страшны.

Ординарец с откровенной завистью и восхищением смотрел на Остапа Ефремовича Нечипорчука, словно бы впервые видел комиссара дивизии в землянке комдива. Разглядывал его диковинной ширины плечи, обтянутые черным полубком так плотно, что, казалось, вот-вот на нем лопнут швы.

— А что, Лукич, он может. Он, брат, знаешь какой, комиссар наш, он нас с тобой подмышку — и не чертыхайся.

— Очень запросто, товарищ комдив. Дывлюсь я, товарищ старший батальонный комиссар, як же вам ОВС¹ одежду, обувь и всякую прочую воинскую амуницию подбирае!

— А мини, землячок, мае свой ОВС, — дружелюбно, перемежая украинскую речь с русской, ответил Нечипорчук.

— Тогда, конечно, вам сподручнее.

¹ Отдел вещевого снабжения.

— Иди, Лукич. Снимай, Ефремыч, полушубок. Жарко у меня. Завтракал?

— Спасибо, Георгий Федорович. Харченко накормив.

— Значит, в сто пятьдесят восьмом уже побывал?

— Оттуда.

— Погода?

— Кони вздыбаются супротив ветрюги. Сатанинская погода, Георгий Федорович.

Харченко пополнение принимал в своем полку.

— Молодец этот Харченко. Бережет бойца.

— А як же. Тем более новобранец прибыл.

— Да, Ефремыч... новобранец.

Старший батальонный комиссар снял полушубок, шагнул к земляной нише, повесив свое огромное одеяние на деревянную шпильку и, оправив гимнастерку, украшенную орденом Красного Знамени, сделал второй шаг к столу. Здесь он оглянулся, но на стул не сел, а протянув руку, откуда-то извлек толстый чурбак. Присев на чурбак, развернул одну из папок, так бесцеремонно сдвинутых на краешек стола ординарцем.

— Знакомься, Ефремыч, а я обязан выполнять приказ Лукича.

— Харчуйся, харчуйся, Георгий Федорович. Золото твой Лукич.

В единственное окно, как и во всех землянках гарнизона, упрятанное в нишу, с краев оснащенную деревянными стенками, хлестал неумолкающий «самурай». Комдив неторопливо и безаппетитно выполнял приказ Лукича. Лукич выглянул из кухонки, и комдив энергично заработал ложкой. Это был обыкновенный солдатский суп из американской тушенки, приправленный стручковым перцем, добытым Лукичом, который знал, что Георгий Федорович очень любит острую приправу. И на самом деле, Замотаев, поглощая солдатское блюдо с любимой приправой, всегда чувствовал что-то домашнее, напоминающее семейный стол. Кроме того, комдив не хотел обижать Лукича, испортить ему настроение. Есть все же не хотелось, и мысли, навеянные утренним концертом из Иркутска, мысли о сыне, стоящем спиной к Москве и грудью к фашистам, не давали ему в то мутное утро покоя. Только сидящий перед ним великан, углубленный в чтение приказов свыше и в новости по дивизии, вот этот старший батальонный комиссар — друг и помощник его, только он возвращал сейчас комдива Замотаева к бесконечным заботам о своей девяносто четвертой. Комдив изредка взглядывал в суровое, с могучим подбородком и огромным лбом лицо Нечипорчука. Такое лицо один раз в жизни увидишь, запомнишь навсегда. Казалось, оно вырублено из гранита, но не отшлифовано, и оттого еще более сурово и напряженно. Была в старшем батальонном комиссаре какая-то притягательная сила, и не только потому, что в любой толпе он был выше всех на голову и шире всех в плечах, но, по какой-то неопределенной даже для Замотаева причине, комиссар останавливал на себе взгляд всякого. В дивизии его не то что побаивались, хотя и не без этого, но появление его в расположении вызывало немую почтительность, и все мгновенно замирали при его появлении в любой землянке. Нечипорчук не был отличным оратором, но любое его слово запоминалось и разносилось из подразделения в подразделение. Стоило ему сказать у артиллеристов: «А что, хлопцы, и в конюшнях полы драить надобно!», как в соседней роте разведчиков раздавалась команда командира роты Степана Франчука: «Драить полы!». И старшина Гордеев — каслинский сталевар, широкоплечий крепыш, любимец роты, еще

с утра до глянца вывездивший полы расположения, немедленно отдавал приказ «драить полы». И никому в голову не приходило из разведчиков обидеться на такое, потому что знали — рядышком, у артиллеристов, старший батальонный комиссар, а к разведчикам у него особенная любовь, и не дай бог...

Комиссар медленно перелистывал содержание папок на столе комдива. Каменное, до темной синевы продубленное его лицо с острыми скулами иногда взбугривалось тяжелыми желваками на втянутых щеках. Вот и в эту секунду, когда он дочитывал какое-то донесение или информацию сверху, а комдив, вяло выполняя приказ Лукича, доедал гречневую кашу с ароматным луковым подливом, темноскулое лицо комиссара опять взбугрилось желваками. Нечипорчук прищурил глаза и с грустью бросил:

— Значит, Георгий Федорович, што ж воны нам пидкинули, а?!

Комдив понял грустный взгляд своего помощника и трогательно-наивный вопрос.

— Ты понимаешь, Ефремыч, все эти новобранцы шли в Читу в стройбаты, на обкатку, так сказать, а тут мы с тобой волей божьей и командующего выдали все наше богатство под Москву. Вот и переадресовка получилась. Получай, девяносто четвертая...

— На тоби убоже, чого нам нэ гоже...

— Стой, комиссар. Отставить. Народ пришел советский.

— Та ж, Георгий Федорович, стройбатовцы.

— Понимаю тебя. А ты скажи, почему наш Подпалов до сих пор в батальонных комиссарах ходит, когда ему давно полковым надо бы стать?

— И вполне даже Подпалов швидкий ум, Георгий Федорович.

— И не только умом быстрый, а и заслугам перед родиной. Человеку под пятьдесят и начинал воевать с тысяча девятьсот семнадцатого года, с германских окопов прямо на Юденича. Почему, как смекаешь?

— Слыхал, вин с Рокоссовским и Жуковым служил, так или кто брех пустил?

— Именно так. Подпалов — сослуживец и Рокоссовского, и Жукова. Но он же в 1937 году под молох попал. Ты же знакомился с его делом, знаешь — перерыв в партстаже три года.

— Те-те-те, припомнив. Перерыв в партстаже три года. Та хибя ж он маршалам не писнет? Хибя ж вин змолкае свою обиду?!

— Хибя! Вот тебе и хибя, Ефремыч. А ты — стройбатовцы... Нам с такими, как Подпалов, надо за три месяца, слышишь, комиссар, за три месяца сделать из этих стройбатовцев, которые, может, и винтовку в руках сроду не держали, такого бойца, который в любой момент может против немца во весь рост встать!

— Значит, Федорыч, считаешь, войне...

— Эх, Ефремыч... — комдив встал со своего креслица, взял котелок и тарелку, пошел на кухонку. Лукича он там не застал и, вернувшись, склонился к уху комиссара, — война, Ефремыч, помни, в крутой-перекрутой узел завяжется. И, может, нам улыбнется добрый ангел, фашиста бить, а не его, так вон тех соседушек, от которых этот сатанинский «самурай» дует.

— Воны Москву ждуд, Федорыч.

— Ждуд. Немец под Юхновым, а они у нас с тобой под горлом.

— Им ближе до нас, чем немцу до Москвы, Георгий Федорович.

— Девяносто километров с полной выкладкой и шансовым инструментом бегают японский солдат за учебный день.

— И все с раздвоенной лопатой, оглобля ему в горло.

— Видал я их тухлю. Пограничники к следу водили. Черт или корова, спрашивают. А я нэмаю, чего в ответ сказать. Нэ видал я, чтобы чоловик такую обувку носил.

На крылечке слышались нарочито громкие шаги и столь же предупреждающий кашель...

— Вот, приготовься к бою, товарищ комдив.

В кухонке хлопнула входная дверь, снаружи заброшенная, словно катапульты, ветром, и в проеме горенки появился помощник по тылу майор Траканов.

— Разрешите, товарищ комдив?

— Давай-давай, Петр Анисимович. С чем пожаловал?

— С бедой, товарищ подполковник.

— Ты да без беды. Бывало такое, Ефремыч, а?

— Одежи, обуви новобранцам...

— Так точно, товарищ комдив, так точно, товарищ старший батальонный комиссар. Начальник ОВС волосы на себе рвет...

— Во всех местах?

— Как, товарищ комдив, во всех местах? Ясно дело, во всех местах все проглядели, все склады перетрясли...

— Та нэ тож тоби допрашивают, майор Траканов. Тоби ж комдив интересуется, во всех ли местах своего тела твой начальник отдела вещевого довольствия волосы рвет, а ты про склады.

— Да во что, во что я такую армию обую, одену! Вы же знаете, что все, чем были богаты, отдали тем, кто ушел на фронт, да и то половина БУ ушло.

— А ты этих, майор, приобиходи! — голос подполковника стал жестким, и майор Траканов вытянулся перед столиком и брюшко втянул, словно и сроду такого не было.

— Есть обиходить, товарищ комдив! — он щелкнул каблуками парадно начищенных сапог и, взяв под козырек, собирался сделать поворот от ворот.

— Отставить. Садись, Петр Анисимович. Завтракал?

— Спасибо, товарищ подполковник. Случалось такое.

— И сегодня случилось? — захохотал громовым басом комиссар.

— Что сегодня, товарищ старший батальонный комиссар?

— И сегодня, в такое ЧП, завтракал?

— Ну куда денешься, жить надо. Энергия требуется...

— Правильно, Петр Анисимович, энергия требуется, и она у вас есть. Обуйте, оденьте новоприбывших, и завтра нам покажите их.

— Завтра?! — помощник по тылу оглянулся, куда бы сесть.

Комдив тоже оглянулся, на что бы посадить майора, но Нечипорчук перенес по воздуху стул, и ручища его не задела стола. Помощник по тылу принял стул запотевшей рукой и сел.

— Одно БУ, и то половина бушлатов, как я вам новеньких в таком облачении покажу. Вы меня-то пожалейте, товарищ комдив и товарищ старший батальонный комиссар.

— А ты знаешь, где умеют жалеть нашего брата, товарищ майор?

— Знаю.

— Хиба ж знаешь, так поучи нас, майор.

— В кабинете зубника.

Комдив и комиссар так по-мальчишески задорно рассмеялись, что майор Траканов стал тоже тихонько подхихивать. Но ему было не до смеха, и это понимали комдив и комиссар. Дело в том, что приезжих должны были обмундировать в Чите. Там все было для этого приготовлено, и вдруг переадресовка без поддержки. На самом деле, где взять дивизии шинелей, ботинок, обмоток, нательного белья, шапок, ремней на две тысячи прибывших, свалившихся прямо с неба на душу майора Траканова и его помощника по ОВС капитана Овсянникова. Последний аж похудел в одну ночь, когда услышал требования майора Траканова обуть и одеть новобранцев. Капитан спросил: «Сколько?», а когда услышал — два эшелона, то точно как его начальник осмотрелся, куда бы присесть. Только майор Траканов не подставил для него стул: «Хоть тещу раздень, а чтоб к утру, после бани, новобранцы были одеты, как положено бойцу Красной Армии. И никаких шуточек, капитан Овсянников. Таков приказ командиров».

— Товарищ комдив, товарищ старший батальонный комиссар, — вдруг осенило майора Траканова, — а если по прямому проводу с командующим в Читу прямо: так, мол, и так... Ведь переадресуют. Все, что положено, вернут. Я же нашего брата снабженца до хлястика знаю. Они все по нашему пополнению придержат, а потом щегольнут перед своим начальством смекалкой и запасливостью. Так неужто отдавать им столько добра, а своих в лохмотья!..

Под столиком возле ниши, где спал подполковник Замотаев, раздался тихий, но продолжительный зуммер. Комдив встал, взял трубку:

— Первый слушает. Здравия желаю, Константин Осипович! Все съехались? Нет, у меня в землянке не поместятся. Ничего, что белого света не видно. Сейчас мы с комиссаром, да вот еще майора Траканова захватим. Командиры ждут. Пошли, товарищи. Стоп! — Замотаев круто повернулся к своему столику и, достав из крошечного ящичка ювелирной работы домашнюю шкатулку, что-то оттуда вынул.

— А ну, пригнись, товарищ полковой комиссар! — скомандовал и попросил комдив.

Нечипорчук, вставший с чурбака, уже шагнул к своему полушубку, но, остановленный неожиданной требовательностью комдива, вопросительно взглянул на него.

— Ну, чего смотришь? Говорю, пригнись, товарищ полковой комиссар, не лезть же мне на табуретку, чтобы приколоть на твои петлицы еще по одной шпале. На, читай! — Замотаев передал оробевшему великану глянцевого листок бумаги и стал прокалывать четвертую дырочку маленькими ножницами на петлицах наклонившегося комиссара дивизии.

— Поздравляю, товарищ полковой комиссар!

— Примите и мои поздравления, товарищ полковой комиссар! — вскочил майор Траканов и протянул свою пухлую руку в огромную ручищу Нечипорчука. Тот от забывчивости, а может под впечатлением события, замкнул свою ладонь, и помощник по тылу невольно слегка присел.

— Ох ты, шоб тоби сказывси. Прощай, будь ласка, товарищ Траканов! — отпуская руку майора, улыбнулся комиссар.

Они вышли из землянки, и Нечипорчук схватил их обоих за руки.

— Хоронитесь за мэне. Пробьетесь к штабу.

А в брусчатом здании штаба дивизии, обнесенном проволочным заграждением, собрались командиры всех полков и приданных частей.

Начальник штаба дивизии Константин Осипович Кириллов прошел службу от писаря через все ступени штабов, но ни разу за всю воинскую службу не командовал даже взводом. Так случилось и сейчас. Дослужившись до звания подполковника, он не представлял себя в другой роли, кроме начальника штаба. Разрабатывая любое решение, готовя любой приказ, он никогда не выдал бы его только за своей одной подписью. Он верил в свою работу только после того, как ее подписал старший начальник, и за четверть века армейской службы ему ни разу и в голову не пришло, что он лицо первостепенное и ответственное.

В штабах полков и батальонов имя подполковника Кириллова было окружено ореолом безошибочности, точности и неотразимой требовательности к любому решению штабиста, его каждому аргументу. Командиры полков, отдаленных от дивизии, майор Харченко и подполковник Громан, единственный, кто носил орден Красного знамени за Испанию, прежде чем появиться у комдива, обязательно заглядывали к начальнику штаба. И всегда он принимал их с озабоченностью отца, ответственного за каждый шаг своего сына. Но, как обычно бывает в армейской жизни, Батей называли все-таки комдива, а его, Кириллова, — Осиповичем. Даже комбаты и другие командиры иногда срывались и позволяли себе такую вольность. Константин Осипович не обижался и на младших офицеров за «Осиповича», и если его обычно видели сосредоточенным, неулыбчивым, с твердыми складками у тонкого переносья, то и тогда знали — Осипович не обидится, не примет такой тон за панибратство. Ровное и сдержанное отношение ко всем, кто появлялся под его прямо глядевшими глазами, вызывало у всех уважение, и каждый старался сделать так свое дело, чтобы не сходились острые складки у переносицы начальника штаба дивизии подполковника Кириллова.

Он сидел в своем небольшом кабинете, увешанном картами Приаргунья и сопредельной территории, эти всегда были задернуты ситцевой занавеской. Отчего-то сегодня на душе его было смутновато. Ему казалось, что именно сегодня он чего-то не додумал в своих приготовленных приказах по приему и размещению по батальонам нового пополнения. Заготовил Константин Осипович и приказы по карантинам, и по курсу молодого бойца, и по ближайшему занятию с командирским составом, занятию по тактике на местности. Последний приказ — дело заместителя комдива по строевой: вот уж третий месяц исполняющий эту должность майор Перевалов ходит согнутый в три погибели радикулитом, а Кириллов от чужой болезни сам заболел.

Комдив тихо открыл дверь в кабинет начальника штаба и, на пороге поздоровавшись, спросил:

— Где соберем, Осипович, народ? У меня в окна дует, да и скажи, пожалуйста, или мне кажется, но у тебя вроде бы обжитее.

Кириллов встал навстречу командиру дивизии, и, улыбнувшись, по обычной привычке глядеть прямо в глаза, мгновенно заметил озабоченность своего начальника.

— Как прикажете, Георгий Федорович.

— Ты уж извиняй меня, старого чудака, мне у тебя уютнее. Зови мужиков.

В кабинет начштаба неторопливо, вслед за комполка вошли Харченко и Громан. Соблюдая субординацию, разместились замполиты и комбаты со своими политруками. Торопливо, словно бы щеголяя молодостью, вошел танцующей походкой начполит дивизии подполковник Ярусов, бывший до войны начальником Управления по делам искусства в Красноярске. Этот сохранил свою осанистость, даже, можно сказать, артистичность. Седая грива густых волос контрастировала с неизменным ежиком комдива и, особенно, с мальчишеской подборкой на его висках и шее.

Кстати, Нечипорчука еще не было, и Замотаев не открывал совещания. Он ожидающе поглядывал на дверь. Наконец она распахнулась, и в кабинете сразу стало тесно от широко шагнувшего к столу Нечипорчука.

Комдив и полковой комиссар коротко переглянулись и враз улыбнулись. Улыбка стала сигналом общего приветствия. Первым подошел с заранее протянутой рукой майор девятого Сырников.

— Поздравляю, товарищ полковой комиссар! От души поздравляю!

Встали майор Харченко и подполковник Кардонов. Они тоже подошли к Нечипорчуку и утопили свои руки в его широченной ладони. Харченко — жердистый, строгий, неулыбчивый; Кардонов — широкоплечий крепыш лет сорока с открытым, продубленным ветрами лицом — двумя руками потряс руку полкового комиссара. Вскочил и начальник политотдела Ярусов. Он протанцевал по небольшому кабинету и, пожимая руку своему начальнику, повернулся к остальным:

— Обмыть бы четвертую шпалу, братцы!

— Нэмае горилки. Дрожжей нэ мае, Ярусов, — Нечипорчук смущенно улыбнулся.

Кириллов, оставив свое кресло комдиву, коротким жестом подвинул ему три листа, отпечатанные на машинке. Замотаев бегло пробежал приказы, черкнул школьным пером «уточка» под каждым и в свою очередь протянул листки по столу Нечипорчуку.

В кабинете пахло острой, сдобренной одеколоном махоркой и тем добрецким, могучим запахом здоровых мужских тел, который всегда напоминает армейскую службу, а вернее сказать, казарму. Запах этот неистребимый, и ни в одном гражданском учреждении вы его не почувствуете. Это особый, терпкий,стораживающий запах, мгновенно воскрешающий в воображении новичка в армии представление о винтовке, пулемете, ружейном масле и конском поте.

Нечипорчук читал приказы медленно. Подписав их, он склонился к Замотаеву. Комдив вновь подвинул приказы к себе, заново прочел их и тихо ответил:

— Да что ты, Ефремыч. Сами разве не догадаются.

Наблюдательный, на редкость быстро оценивающий обстановку и по любой недомолвке догадывающийся о сущности дела, Константин Осипович Кириллов, не расслышав сути перешептывания комдива с полковым комиссаром, понял, почему у него сегодня было смутно на душе и чего он не доделал. Уловив «сами разве не догадаются», брошенное комдивом, воздержался вмешаться в их короткий диалог. Кириллов с особым уважением взглянул на полкового комиссара, и сущая неудовлетворенность сегодняшней работой перед этим совещанием стала почти физической болью.

— Так вот, товарищи, собрались мы обмозговать самое что ни на есть злободневное наше житье-бытье. Разбогатели мы с вами снова, не успев дух перевести. Родина нас не забыла. Теперь давайте решать. Как быть с этим богатством. Война

бойцов требует на передовые рубежи. Кто прибыл к нам сегодня, она их быстро потребует. Как мыслите, товарищи командиры, политработники? — Замотаев замолчал. Тишина в кабинете начальник штаба уплотнилась. — Начнем с вас, товарищ Сырников.

Командир девятого пружинисто выпрямился, одернул китель и вдруг горестно вздохнул.

— Разрешите доложить, товарищ командир дивизии, по мне, так это просто с бору сосенки. Прямо сказать — шушера...

Нечипорчук украдкой взглянул на комиссара девятого. Батальонный комиссар Подпалов сидел с опущенной на руки головой, словно закрылся от удара.

А ветер ураганил за окном, и слышно было в накаленной тишине, как в стекла хлещет микроскопический растолченный песок, словно по стенам брусowego ДНС скребутся тысячи когтей. Но странная особенность этой части даурской степи: чистое небо без облачка и яркое, по-ноябрьски холодное солнце освещало кабинет, — лучики его то и дело гладили золотом пылающий орден на груди подполковника Кордонова. Он тоже потупил глаза и, кажется, даже сжался, стал уже в плечах. Командир 153-го полка майор Харченко с любопытством смотрел на Сырникова. Комбаты и политруки растерянно переглядывались. Комиссар Подпалов, так и не открыв лица, под вопрошающим взглядом комиссара дивизии видел в эту минуту совершенно ясно, во всех подробностях вчерашний прием новобранцев на плацу перед расположением третьей роты. Наконец он выпрямился на стуле, и все обратили внимание, как по щекам и шее неожиданно смутившегося старого кадровика зацвели больным цветом алые пятна.

Комдив постукивал пальцами по столу.

— Значит, товарищ Сырников, считаете, шушера прибыла к нам?

— Так ведь зайдите к нам в карантин, товарищ комдив...

— А вы считаете, товарищ майор, мы не бывали в ваших казармах с командиром дивизии? — сдерживая свой бас, спокойно проговорил полковой комиссар.

Майор Сырников, лихорадочно перелистывая минуты прошедших суток, не мог припомнить, когда полковой комиссар, а тем более комдив, успели побывать в расположении третьей роты. Майор неожиданно начал свирепеть. Как же ему не доложил Мерзлов, не удосужился старина Куржумов поставить в известность... Но, словно считав его огорошенность, Нечипорчук, ворхнув широченными плечами, засмеялся:

— Тай ты, майор, не дуже шуми на подчиненных. Не был ни я, ни комдив у тоби в карантине. Но вот ты отчини нам твое «шушера». Зачим то дило запрягае, а?

Легкий хохот тронул собрание. Все задышали свободнее, шумно.

— Разрешите доложить, товарищ полковой комиссар, ведь прибыли абсолютные стройбатовцы.

— А вони что, у тоби хату зполили, чи в ши твои плунули, а, майор? Ладно, садитесь, товарищ майор. А у вас как в 153-м полку?

Майор Харченко медленно принял надлежащий вид, и комдив, глядя на его усталое лицо, прочерченное глубокими ранними морщинами, и отлично зная, что в мирное время этого человека с мучительной астмой и минуты не стали бы держать в армии, приготовился выслушать не ахти какое счастливое впечатление о новобранцах.

Командир 158-го полка говорил медленно, но очень четко. Так обычно объясняются тяжело больные люди, всячески стремящиеся замести следы своего недуга спокойным словом, отчетливой интонацией.

— Мы, товарищ комдив, считаем, что ни хуже, ни лучше всегдашнего.

— Понятно, — кивнул головой комдив, как бы говоря, что другого услышать не ожидал.

— А вы, подполковник Кордонов?

— Что могу доложить, товарищ командир дивизии? — словно спрашивая самого себя, а не Замотаева, поднялся командир 64-го полка. — Так что разрешите доложить, что с мнением майора Харченко вполне согласен. Пополнение на уровне. Остальное от нас зависит. Так я полагаю.

Мотнув гривой седых волос, встал подполковник Ярусов.

— Разрешите справочку, товарищ комдив?

— Что у вас, Ярусов?

— Наши товарищи сконцентрировали в политотделе конкретные сведения об образовательном цензе пополнения.

— Ну, и як же того ценза говорит, товарищ начподив? — прищурясь, пробасил Нечипорчук.

— Вот совершенно конкретно: шестьдесят процентов — с четырехлетним образованием, сюда же входят самоучки и малограмотные. Тридцать процентов с семилетним. И только десять процентов имеют среднее, среди них, по крайней мере, половина с неоконченным средним.

Ярусов сел, не ожидая на то разрешения, считая, что он сообщил самые наиважнейшие сведения командованию дивизии, и при этом сведения получены в такой короткий срок, за сутки. Это должно расцениваться как четкая оперативная работа политотдела, инструкторы которого действительно две ночи не спали, разбираясь в личных делах новобранцев, разъехавшись по полкам, и наутро, вернувшись в политотдел, вывели конкретные проценты.

Сообщение начальника политотдела растрогало заместителя командира дивизии по артиллерии полковника Тонкопятова. Аристократической наружности, с академическим образованием, он считал свое пребывание в этой богом проклятой дивизии явной ссылкой, каждой частичкой своего неистраченного достоинства стремясь показать окружающим его офицерам, да и высшему начальству дивизии, свое превосходство, не только профессиональное — все-таки не пехота, не кочколаз, а бог войны — артиллерия, — но и духовное. Полковник Тонкопятов не имел в дивизии друзей и даже приятелей, все для него были люди второго сорта, и разве только скромненький, несколько чудаковатый, чересчур гражданский редактор дивизионной газеты старший политрук Логута в какой-то мере считался возможным собеседником, да и то по пословице «когда нет девушек, танцуют с женщинами».

Сейчас заместитель по артиллерии изложил свои соображения мягким баритоном. Полковник в юности мечтал о карьере певца и обязательно солиста оперы. Он, лениво растягивая слова, проговорил с места:

— Да вам, товарищи, легче разговаривать, а каково артиллерийскому полку?! Все первые номера ушли, все грамотные офицеры. А тут товарищ Ярусов про шестьдесят процентов с четырехлетним образованием...

Комдив привык ко всем странностям своего зама по артиллерии, и этот бархатистый тон с придыханиями и причитаниями вызвал в нем только маленькую иронию.

— Сочувствую, товарищ полковник, но помочь ничем не могу. Разве только советую открыть при артполке курсы по продолжению общего образования среди новобранцев. Могу предложить и свои услуги в качестве преподавателя пения, рисования.

— Благодарю, товарищ комдив, — проглотив пилюлю, серьезно ответил полковник и вновь замкнулся в свое глубокомыслие.

Неудержимый хохот потряс маленький кабинет начальника штаба дивизии, и сам Кириллов, редко улыбающийся на подобных совещаниях, не удержался от смешка. Нечипорчук хохотал во всю мощь своих легких. Могучий его подбородок и аршинные плечи вздрагивали. Комдив был невозмутимо серьезен, а начподив Ярусов тряхнул гривой волос в знак непонимания возникшего веселья.

— А что имеет сказать командир батальона связи? Чай тоже не нашел среди новоприбывших классных специалистов?

Капитан Лобов, чернявый с обветренным лицом и нежными голубыми глазами в обрамлении девичьих ресниц, поднялся и встал по стойке смирно.

— Особенных претензий у меня нет, товарищ комдив, но прошу разрешения для моих командиров походить по карантинам и поприглядывать более или менее грамотных и желающих посвятить себя нашему делу.

— Можете-можете, товарищ Лобов, походите, поприглядывайтесь, — ответил подполковник Замотаев и встал. — Значит так, товарищи командиры и политработники, получите сегодня у начальника штаба приказ к действиям — и в путь за счастьем. Еще командование считает целесообразным немедленное создание в каждом батальоне команды снайперов. Привлеките для этого дела лучших стрелков из офицерского и сержантского состава. Через месяц, самое большее, мы обязаны иметь в дивизии школу снайперов, по крайней мере, бойцов на двести. Могу сообщить, что товарищи из ОВС заверили командование, что вся шушера, как имел честь выразиться комбат Сырников, будет обмундирована с иголочки. Приказываю начальнику ПФС² капитану Готовцеву в течение месяца весь наличный состав карантина во всех полках кормить по норме пять. Начсандиву майору медслужбы Кобзеву обеспечить тщательный ежедневный медицинский досмотр карантинных, еженедельный банный день и прочие профилактические и лечебные мероприятия.

Зампотылу подполковник Траканов, тот самый, что час назад молитвенно доказывал в землянке комдива невозможность одеть и обуть новоприбывших, с замиранием сердца слушал эти слова, и они ввергали его в такое невыразимое смятение, что он забыл даже встать и отрапортовать о своей готовности выполнить приказ комдива, тем более, что комдив вот только что заверил о готовности одеть и обуть новоприбывших с иголочки. Не менее был потрясен и начальник ПФС приказом кормить карантинных в течении месяца по удвоенной норме. Но приказ — дело святое.

Служба ОВС переглянулась со службой ПФС, — у начальства голова получше, побольше, она и пусть решает.

² Продовольственная фронтовая служба.

Один начсандив остался невозмутимым. Он уже начал все, что называется профилактикой. Первые осмотры на вшивость привели его к убеждению немедленно привлечь к делу в карантинах все наличные силы парикмахеров.

Комдив сочувственно, с оттенками одобрения смотрел на подполковника Траканова, отлично понимая, что происходит в его душе. Понимал комдив и то, какую ответственность взял на себя, провозгласив о готовности служб тыла образцово принять новое пополнение и, следовательно, дал слово офицерскому собранию, свое слово, а оно никогда не расходилось с делом. Он-то не хуже своих ОВС и ПФС знал возможности дивизии, ее резервы по экипировке и особенно состояние продовольственных запасов.

Определив и озвучив главные направления, комдив объявил пятиминутный перекур.

В уме комдив перебирал все возможные варианты для опоры своего обещания. Но как скоро по его запросу Округ переадресует положенное дивизии обмундирование для новобранцев, у кого просить хлеба, чтобы вместо четырехсот граммов на день дать оголодавшим тыловикам по пятьсот пятьдесят граммов ежедневного хлебного довольствия? Вопросы эти не давали комдиву покоя. С крупами, даже мясом можно вывернуться. В кратчайшие сроки создать бригаду охотников и отправить их в приаргунские леса. Попытаться счастья в подледном лове на Абагатые. И, несомненно, попытаться счастья в налаживании дружеских связей с местными колхозниками. В сенокосе бойцы помогали колхозникам, и на жатве нашлись умельцы из солдат. Так что станицу надо обязательно навестить. Сделать это придется таким образом, чтобы снабженцы об этом знать не могли. На хлебозаводе работают пекари дивизии. В этом направлении не должно быть серьезных препятствий, хотя появились уже соседские потребители: прибыли квартирмейстеры новой дивизии и начали с того, что осмотрели хлебозавод. Соседи — дело хорошее, но дружба — дружбой, а табачок врозь. Да разве откажешь соседям, тем более дивизия, скорее всего, кадровая. Боевое соседство важная штука для подъема настроения в личном составе дивизии. С одной стороны появление соседей говорит о строгости военной ситуации на границе: настораживает, значит станет стимулом для укрепления воинской дисциплины. С другой — плечо друга, а то на добрую тысячу верст вдоль границы одна полевая часть... Все эти мысли мгновенно проскочили в уме комдива, пока длился перерыв.

— Так вот, товарищи командиры и политработники, мы вас больше задерживать не будем. Если нет вопросов — по коням!

— Разрешите, товарищ комдив?

— Что у вас, товарищ Ярусов?

Начподив поднялся, аккуратно протер очки свежим батистовым платком, при взгляде на который у комдива заторопилось сердце. Вспомнил — точно такими платочками его снабжала Катя. Он отвернулся к окну, задумчиво наблюдая унылую картину безлюдья серой изглянцованной ветрами степи, единственным украшением которой была дивизионная водокачка. Комдив ожидал, когда заговорит подполковник Ярусов. А Ярусов не спешил. Он с тем же спокойствием и медлительностью сложил вчетверо платочек, спрятал его в карман, трижды поправил на переносице очки в золотой оправе и, привычно тряхнув седой гривой, обратился к сидящим.

— Товарищи, я хочу остановить ваше внимание на партийной и политической работе среди новоприбывших. К великому огорчению, — Ярусов сделал многозначительную паузу, — среди прибывших всего только один процент членов партии, два с кандидатским, затянувшимся на несколько лет, и десять процентов комсомольцев.

— Яки ж тоби комсомольцы, начподив, когда «средний процент возраста», — Нечипорчук произнес эти слова с тончайшей интонацией подполковника Ярусова, — як мы прикинули, тридцать-тридцать четыре годика. Но продолжай, товарищ подполковник.

Ярусова не смутила реплика полкового комиссара, он с прежней картинностью продолжал:

— Вывод у партийного и политического аппарата дивизии один — немедленно, буквально используя любую минуту карантинного пребывания, все политинформации для одной цели — освещение роли партии, авангардной ее силы в борьбе за защиту Родины от фашистских захватчиков. Упорно и настойчиво надо готовить к приему в партию и комсомол первых же отличившихся в боевой и политической подготовке товарищей. Политотдел рекомендует подробнее освещать историю партии, ее традиции в труде и бою. Во всей работе партийных и комсомольских органов дивизии особенный акцент следует делать на героические примеры коммунистов и комсомольцев-фронтовиков. Политотдел дивизии полагает, что командный состав любого ранга включится в эту наипервейшую нашу общую задачу по воспитанию в личном составе духа высочайшей чести и ответственности перед Родиной в трагические для нее дни.

Ярусов сел, не забыв тряхнуть прекрасной гривой и мгновенно освободив свою переносицу от очков.

Вопросов не было. Комдив завершил совещание.

Политработники дивизии немножечко побаивались начподива. Совсем, ну просто без году неделя его армейская биография, а воинской суровости и какой-то до-тошной требовательности было в подполковнике Ярусове на десяток кадровых политработников. Еще никто не видал его разгневанным, кричащим. Интеллигентный, явно эрудированный не только в политике, отлично разбирающийся в искусстве, он с первых дней своего назначения на эту высокую должность искал в каждом из подчиненных существующие и несуществующие промахи в работе, жизни. И вместе с тем каждый из работников политотдела и полковые политработники явно замечали, что начподив ищет их внимания, возможно даже дружбы, товарищества, а вот не получалось на деле желаемого им оборота в отношениях со своими кадрами. Ярусова раздражала замкнутость некоторых комиссаров полков. Особенно он недолюбливал батальонного комиссара девятого. Никифор Андреевич Подпалов не вмещался в понятия подполковника, и за все их совместное время работы в дивизии они ни разу не встречались наедине, хотя начподив искал пути-подходы к батальонному комиссару. В душе он уважал его за строгие принципы отношения к кадрам, но Ярусову хотелось, чтобы батальонный комиссар видел в нем не только старшего по службе, но и друга, советчика. Вот тут-то и спотыкался подполковник Ярусов. Ему всегда казалось, что комиссар девятого, глядя на него, чему-то усмехается, вроде как держит в кармане кукиш.

Сегодняшний выкидон командира девятого с этим глупым словом «шушера», на взгляд начподива, должен был получить оценку на офицерском совещании, осуж-

ден полковым комиссаром, да и самим комдивом, но все отмолчались. Ярусов ожидал хоть одного словечка осуждения, и тогда бы он дал волю своим принципам, назвал бы точным словом грубейшую оценку пополнения со стороны явно несимпатичного майора Сырникова. Он бы сумел дать оценку ошибки майора армейским и партийным языком политического руководителя. Но субординация удержала подполковника Ярусова от инициативы. Точно так же как на гражданке никогда не позволял себе дать оценку какому-либо событию в искусстве города раньше, чем это сделает товарищ из вышепоставленной инстанции.

Когда совещание подходило к концу, полковой комиссар, заметив взгляд комдива, приглашающий выступить, грузно поднялся с места. По правде сказать, Нечипорчук считал вопрос завершённым и не имел намерения сказать последнее слово, но, видно, без слова не обойтись.

— Чого, хлопци, говорить. Дело ясное. Комдив правильно призвал: «В путь за счастьем». Имя этому счастью — высокая боевая и политическая выучка каждого из новобранцев, — Нечипорчук так взглянул на майора Сырникова, что тот привстал с места. — Сидите, Сырников. Я вам, хлопци, скажу напоследок, берегите как родных сыновей каждого из этой... и чтоб я больше этого слова не слышал в дивизии.

Батальонный комиссар Подпалов торопливо вышел из кабинета, за ним, шумно отодвигая стулья, покинули кабинет остальные офицеры.

Когда начальник штаба остался с комдивом и комиссаром дивизии, в дверь кабинета постучали.

— Войдите! — обрывая задумчивость, ответил на стук комдив.

В кабинет, как на крыльях, влетел адъютант комдива, молоденький, недавно присланный из округа лейтенант Коромыслов. Легкий, подвижный, почти всегда с улыбкой, аккуратный, во всем до блеска начищенный, он прибыл сюда для продолжения службы, а комдив на второй день его пребывания в дивизии взял лейтенанта к себе в адъютанты. Парень чем-то напоминал Мишку.

— Ну, что там у тебя, лейтенант?

Коромыслов ничего не ответил, а мгновенно оценив обстановку, обратился к Нечипорчуку:

— Товарищ полковой комиссар, разрешите обратиться к подполковнику?

Нечипорчук второй раз за день громко захохотал, обнаружив силу своих легких и голосовых связок, не сдержались от смеха комдив и начальник штаба.

— Эй, лыцарь, ты не обиделся ли на мой смех? Извиняй, Витюша! И как ты углядел эту четвертую? От, Соколиный глаз! А стреляешь из личного в том же духе, а, Витюша?

Коромыслов улыбнулся, но стойки и пружинистости не изменил.

— Разрешите доложить, товарищ полковой комиссар, что из личного, что из других видов оружия без дырочки.

— Ну, что там у тебя, Витя? — комдив нежно посмотрел на лейтенанта.

— Письма вам, товарищ комдив, и товарищу полковому комиссару.

Оба офицера встали с места, вздрогнули, протянули руки за письмами.

— Личные? — с глубоким волнением произнес комдив.

— Так точно, личные, товарищ комдив!

— Удружил. Спасибо тебе, сынок, — не удержался комдив и мягко добавил: — Свободен.

Комдив поднес конверт к глазам, к губам: — Катюша! Понимаешь, Ефремыч, даже конверт ее духами пахнет. Имя тем духам прекрасное — «Красный мак». Только их и дарил. Неужели сама сейчас покупает?

— Та это ж ваши, Георгий Федорович. Слово даю — специально для конвертов бережет.

— Ой, Ефремыч, как всегда твоя правда.

Подполковник бережно выстриг ножницами кромку конверта. На стол выпала фотография.

— Мишка! — и весь сияя от счастья, не стесняясь своей восторженности, вслух зачитал: — Батя, а я тебя перегнал в наградах. Смотри на мою грудь. Различаешь? Медаль за отвагу. Это я, батя, соло дал по «тигру» из бронебойки. С первого снаряда закаруселил фашиста.

Кириллов и Нечипорчук стояли не шевелясь.

Он сам протянул Кириллову фотографию: — Гляди, Осипович, на моего сокола!

Нечипорчук подошел ближе к начальнику штаба, разглядывая фотографию.

— О це гарный хлопец у тоби, Георгий Федорович, — и обнял за плечи комдива.

— Катюша вложила в свое письмо Мишкино послание. Умница. А у тебя, Ефремыч?

— Тай то ж моя Оксана, — Нечипорчук с той же осторожностью вскрыл ножницами конверт, из которого осторожно извлек фотографию. Все трое с изумлением смотрели на чернобровую дивчину в окружении телят. Девушка держала в руках бутылку с молоком, с натянутой на горлышко детской соской, а сама, улыбаясь, смотрела в объектив.

— Отце нумир один. То ж моя Марыйка, хлопцы! — пробасил Нечипорчук.

— Красавица! — воскликнул, не сдержавшись в чувствах, начальник штаба.

— Истинная! Ох, Ефремыч... — комдив подошел к Нечипорчуку и прислонился щекой к рукаву его гимнастерки.

Константин Осипович Кириллов топнул ногой, словно собираясь плясать, и, хлопнув в ладоши, изрек:

— А что, товарищи, кончится война и засылайте, Георгий Федорович, сватов. Вот погуляем на свадьбе!

— К телятнице моей, донечке родной! Та кто ж против будет!

— И зашлю! Позволь, Ефремыч, переснимок сделать.

— Тож к чему, комдив?

— На фронт Мишке моему пошлю. Пусть знакомится.

Хлестал по стеклам ветер «самурай» и когтил брусчатые стены штаба дивизии.

Глава третья

Постельные принадлежности. «Я вам покажу интеллигенцию». «Сандуны»

Старшина Егор Куржумов отдал приказ командирам отделений организовать постельные принадлежности всем прибывшим в распоряжение третьей роты. Старшина строго и серьезно произнес эти слова — «постельные принадлежности», и все командиры отделений, получив здесь же, в каптерке, положенное число плащ-палаток, знали их назначение. Была им понятна и обязанность выданных вещмешков, ну а что касается котелков и ложек — тут полный порядок. И уж совсем

ни к чему улыбка сержанта Зубрина... И хоть не хотел он, чтобы старшина заметил ее, но старшина, да еще такой, как Егор Куржумов, не только улыбку заметит, но и пуговицу, не теми нитками пришитую к гимнастерке, и уж обязательно скажет: «Отпорите, и чтобы никаких суровых ниток, а черные, понятно? Черные!»

Сержант Зубрин был в третьей роте самым старшим по возрасту среди командиров отделений. Каслинский сталевар роста за сто восемьдесят сантиметров, голубоглазый, с речью твердой — командирской, считался в роте самым большим умельцем открывать в своих подчиненных солдатскую жилку и сам верил и другим внушал, что каждый мужчина, хоть он и сроду армии не нюхал, мытьем или катаньем станет солдатом. Только надо работать с людьми не огулом, не по одной мерке и даже не одними и теми же словами с каждым, а все делать с подходцем. А кто от гражданских привычек отряхнуться сразу не может и вроде бы фордыбачит, сумрачится, к этим и маневр обходной требуется. В чем суть такого обходного маневра сержант Зубрин не распространялся. Научился такому подходу у своего земляка — кислинского горнового Александра Гордеева. Тот служил в отдельной разведроты старшиной под командой старшего лейтенанта Степана Франчука. Был старший лейтенант похож на мальчишку и ростом, и маковым цветом сухого, продубленного всеми ветрами Маньчжурии лица, а улыбку имел такую, что взглянешь на Франчука, так хоть как бы сумеречно не было на сердце, обязательно улыбнешься.

Так вот, сержант Зубрин из третьей роты девятого полка хоть редко встречался со своим земляком Сашей Гордеевым — разведроты стояла в землянке на краю гарнизона — знал, что старший лейтенант Франчук ценил своего старшину именно за такое вот умение «обходного маневра», и потому-то, вероятно, разведроты на всех инспекторских смотрах, на всех учениях, особенно по строевой, была гордостью дивизии. Дружок сержанта Зубрина — старшина Гордеев — был гордостью старшего лейтенанта Степана Франчука.

— Ну, сержант, чему лыбишься? — Егор Куржумов, сумевший отстоять от фронта всех своих отделенных, на этот раз больше всего боялся, что пришла очередь Зубрина. Старшина не возражал бы, даже если на фронт ушел лучший покомвзвода Петр Срибный. К счастью, и Петра Срибного, как ни рвался он на передовую — три рапорта писал, чуть на губу не угодил за это — тоже оставили «до следующей комплектации».

— Я тебя, Зубрин, насквозь вижу. Коробят тебя постельные принадлежности.

— Может, и коробят, товарищ старшина, но, как я понимаю, не к теще на блины прибыли товарищи.

Егор Куржумов расцвел. Все еще полный впечатлений от картины на ледяном плацу, не в силах смягчить сердечные волнения за новобранцев, он отлично понимал всю тяжесть положения прибывших сюда людей. За стенкой каптерки, в длинной полутемной землянке с одной единственной чугунной печкой возле поста дневального у выхода из казармы, в этой землянке с «добро пожаловать» над входом предстоит обустроить три сотни прибывших на воинскую службу людей. Двухэтажные нары по заданию начсандива выскоблены добела и пропахли карболкой. Все готово для заселения. Конечно, это на карантинное время, но бойца все едино требуется выстрегивать с первого момента. Если даже этот, на доброго отца похожий отделенный Зубрин говорит: «Не к теще на блины», значит и другие отделенные и покомвзводные встанут с ним, Егором Куржумовым, плечом к плечу и помогут за месяц карантина выдать во все роты и отдельные взводы бойца, достойного третьей роты.

— Значит так, соколики, — выговаривал Куржумов отделенным, — объясните по-спокойному, без закидонов, — Куржумов взглянул на отделенного Хаснутдинова, зная службистскую строгость младшего сержанта, — что пружинных матрасов, крахмальных простыней, одеял и подушек... Одним словом, действуйте, соколики! И еще, объясните, что завтра в бане выдадут обмундирование, ботинки и обмотки с портянками. Про нужники не забудьте. Предупредите, что без разрешения дневального, в любое время суток хоть по большой нужде, хоть по малой из расположения казармы ни шагу.

Отделенные молча выслушали старшину и приняли «постельные принадлежности». Анвар Хаснутдинов, узкоплечий, верткий, с длинным лицом и строгими складками возле обветренных, потрескавшихся и часто облизываемых губ, был чем-то явно недоволен. Он видел взгляд Куржумова, обращенный к нему. Анвар перед самым июнем 1941 года отслужил срочную и готовился встретиться с трактором в родной Татарии. Встречи не произошло по известным обстоятельствам. Вместо гражданской одежды получил линялую гимнастерку с двумя лычками младшего сержанта и принял отделение. За душой пять классов школьного образования да курсы трактористов. С людьми работать никто не учил. Поэтому, видимо, очень не любил «шибко грамотных». Если попадали такие в отделение, не стеснялся говорить: «Я вам покажу интеллигенцию!» С этого и начинал свою работу с новобранцами. А поучиться у него было чему. Житье-бытие на границе, в земле, в учениях на ветру и метелях — все прошел Анвар. Отличный знаток воинских Уставов и Наставлений, прекрасный стрелок, умелец по владению шансовым солдатским инструментом — всем этим качествам, приобретенным за годы службы, младший сержант Хаснутдинов старательно обучал своих подчиненных. Только разговаривать со своими бойцами, как Захар Зубрин, не мог, не получалось. Бойцы его отделения, те, кто ушли на фронт, прощались со своим отделенным по-братски. Во время службы же корчились под неусыпным и суровым глазом. Трудно свыкались с характером своего отделенного, хотя каждый знал, Хаснутдинов лишнего не потребует. Если же что не по Уставу, полчаса по стойке «смирно» продержит и на полную катушку нарядов выдаст. Взводный его вместе с помковзвода ушли на фронт. Кого подкинет судьба в начальники, Анвар не гадал. Начальство умел ценить, и каждое слово командира было для него святыней. В русском языке Анвар Хаснутдинов, честно говоря, не преуспел, так что, разволновавшись, мог по любому пустяку распетушиться такими словами, что бойцы только глазами хлопали и просили повторить сказанное. Тут-то отделенный и ввертывал свое излюбленное: «Я вам покажу интеллигенцию!». Таков был отделенный второго взвода третьей роты младший сержант Анвар Хаснутдинов.

С отделенными третьей роты Гаврилой Шиловым и Михаилом Кудеяровым нас сведет судьба в степи Даурии на учениях — и в такие минуты жизни, что освещают тропы не только одной судьбы, но и широкую дорогу поколения, породившего таких воинов.

Новобранцы, хлынув промерзшим паром с постылого плаца, сразу очутились в подземелье казармы с двойными нарами, выскобленными, словно столы в избах сибирских деревень, где скатерти да клеенки в предвоенную пору были большой редкостью. Плотно сколоченные половицы некрашеных полов казармы тоже блестели чистотой, и дневальный охрип, повторяя чуть ли не каждому входящему

новобранцу одно слово: «Ноги!». Возле его тумбочки с гильзой от сорокопятики и ватным фитилем, у самого порога лежал жесткий половик из невесть откуда нарванных трав, переплетенных мягкой проволокой. Половику тому знакомо было множество солдатских ног. Если бы мог он говорить, то такого наслышались бы, что ни в сказке сказать ни пером описать, потому как солдатские ноги знают легенды и были неисчислимых дорог.

Свежеприбранному казарменному помещению, растянувшемуся в дальнюю даль углов, уголков, поворотов и тупичков, казалось, и конца нет. Многим из новобранцев было чудно и непредставляемо, как могли солдатские руки выкопать под землей такое сооружение с умывальней, курилкой и даже с двумя ленинскими уголками, а еще с отдельными боковушками для писарей, комбата и запертыми на всякие замки кладовками. Не могли знать новобранцы, что суждено им в той приграничной земле, лежащей вплотную к самурайской Маньчжурии, построить и не такие еще сооружения. Разве могли они знать, что предстоит им вгрызаться в приграничный каменный пояс на трехметровую глубину: с ходами сообщения и НП, с дотами и дзотами, колпаками для пулеметов и прочими огневыми заслонами перед границей. Самым главным оружием будущих красноармейцев будет короткопалая солдатская лопатка, ломик, что тупился о стальной грунт мертвой Даурской степи, и ежедневная боевая и политическая подготовка... Это все впереди, а пока отделенные одаривали своих подопечных плащ-палатками, вещмешками, котелками, ложками и кружками.

Не успели застелить плащ-палатками нары и разместить в тумбочках пищевые принадлежности, прозвучала команда: «Выходи строиться!». Отделенный Анвар Хаснутдинов не любил медлить в исполнении приказов и первым поднял отделение.

— Дай согреться, товаришок!

Младший сержант как заводной крутнулся на каблуках и безошибочно, сходу определил говорившего. Прищуренный глаз отделенного как бы толчком снизу выдернул на мутный свет долговязого, с обмотанной рваным шарфом шеей, обросшего по вискам новобранца. Секунду-две один на один смотрели они друг на друга. Отделенный недоуменно, а долговязый с усталым безразличием к отделенному и всему на свете.

— Снять! — скомандовал Хаснутдинов и словно клинком ткнул пальцем, желтым от махорки, в рваное убранство на шее новобранца.

— Простуженный я, товаришок. Слышь, простуженный. Еще на лесе хватил мурцовки, не выходился еще.

— Разговорчики! И я вам не ты, ты меня не тычь, я вам не тебе! — выпалил младший сержант и сделал крылатый жест правой рукой, тем указывая, как и где строиться его отделению.

Вяло, одолевая дремоту, разморившую в густом тепле, и сколь возможно затая распиравшую всех усмешку, новобранцы выстроились вдоль занятого ими уголка нар. И все-таки как ни тяжело было на душе у людей, смех прорвался. Кто-то шепнул: «Равняйся, я тебе не ты, ты меня не тычь...». Ему ответил другой шепот: «Я вам не тебе». И общий смех обрушился на опешившего отделенного.

Анвар Хаснутдинов ничего не понял. Но смех, да еще в строю, да еще в первое построение, да еще при командире!

— Прекратить! Я вам покажу интеллигенцию!

Отделение проглотило смех и грозную тираду своего командира, но совладать с весельем новобранцы не могли.

— Разрешите вопрос, товарищ отделенный? — серьезно и озабоченно попросил тот самый археолог, стоящий правофланговым.

— Фамилия!

— Новодумов, товарищ отделенный.

Младший сержант достал из нагрудного кармана застиранной, но опрятной гимнастерки, список своих бойцов.

— Ахиолог?

— Он самый, товарищ отделенный. Только археолог я, товарищ отделенный.

— Разговорчики! Спрашивайте, товарищ Новодумов.

— Когда нам кашу выдадут, товарищ отделенный?

И опять, на этот раз безудержно и громогласно, в пятнадцать глоток бухнул по расположению громовой хохот. Его подхватили, сами не зная причину смеха, соседние отделения Гаврилы Шилина, Зубрина, Кудеярова. Взвод хохотал, а за ним вся казарма, где строились выделенные в связисты, пулеметчики, автоматчики.

Из каптерки вышел старшина, но, словно земля их выкинула, выросли перед Куржумовым комбат Мерзлов и политрук-инструктор политотдела Михаил Кадиевский.

— Веселые прибыли! — улыбаясь во весь белозубый рот, подошел к строю младший политрук. Старший лейтенант Мерзлов не знал, то ли смеяться, то ли гаркнуть на отделенного и на веселых новобранцев. Но комбат уважал политотдельцев любого звания, а Мишу Кадиевского особенно. Этот стройный, очень юный командир был завсегдатаем третьей роты и считался своим человеком. Ну а раз представитель политотдела с явным доброжелательством высказался за вспыхнувшее в строю веселье, значит и ему, комбату, следует поддержать такую линию, тем более в первые минуты приема новоприбывших. И комбат Мерзлов не удержался от улыбки. Видя такую ситуацию, что старшие командиры не проявляют возмущения, младший сержант Хаснутдинов непринужденно хохотнул, и новая волна смеха покатилась, перекатываясь, угасая и вновь набирая силу, по всей казарме. Михаил Кадиевский, еще улыбаясь, прошелся вдоль строя роты.

— Значит, товарищи, будем вместе служить, будем вместе постигать воинскую науку, чтобы в назначенный час уверенно гнать с нашей земли фашистскую нечисть.

Смех сник, строй подтянулся, выровнялся без команды, насторожился. Кадиевский представился:

— Товарищи, меня зовут Михаил Яковлевич Кадиевский. По званию я, как видите, младший политрук, по службе — инструктор политотдела. Вопросы есть?

— Есть! — громко выкрикнули из строя.

— Прошу, товарищи.

— Тут насчет каши спрашивали. Это точно, не евши мы с самого вечера. Но суть у меня другая, товарищ младший политрук Михаил Яковлевич Кадиевский. Как насчет Бога будет в нашей дальнейшей службе?

Ошеломительная тишина пронзила казарму, сковала строй железным обручем недоумения и, казалось, грохнул за окном взрыв, никто на него не ответится.

Младший политрук выхватил взглядом вытянувшегося в строю рябоватого, с рыжеватой аккуратно расчесанной бородкой человека лет за сорок с просительными

глазами из-под кустистых, с темной рыжиной бровей. Секунду удержав в своих глазах ту просительность и искренность, без тени насмешки и удивления, ответил:

— Мне думается, товарищ, простите, как ваша фамилия?

— Левандуев буду, Никита Герасимович.

— Так вот, товарищ Левандуев Никита Герасимович, вопрос ваш с кашей не съешь, конечно, но, думаю, о Боге мы успеем с вами поговорить, так как служить нам вместе не один денек придется.

— А вы, товарищ старший политрук Михаил Яковлевич Кадиевский, вроде бы аванс мне выдайте, ответьте, потому как законом божьим запрещено оружие в руки брать, — рыжебородый растолкал строй и вышел вперед. Ни тени смущения, растерянности от необычного вопроса не было на его лице, а глаза, внезапно обострившиеся, сверкнули холодноватой твердостью.

Инструктор политотдела не уклонился от ответа, но, неожиданно преобразясь в безулыбчивого и посуровевшего командира, спокойно продолжил разговор:

— Прежде всего, товарищ Левандуев, представляясь всем новоприбывшим и назвав свою фамилию, имя, отчество, полагаю, что вы учтете свое место пребывания, где командиров любого звания следует называть соответственно этому званию, а не по имени, отчеству и фамилии. Это раз. Что касается выдачи аванса, товарищ Левандуев, то могу сказать, какого бы вероисповедования не был человек в Красной Армии, он прежде всего боец. Исходя из того, какое время переживает наше отечество, каждый волен решать какую пользу он принесет в разгроме фашистской Германии. А выпячивать свое расположение к религии, полагаю, не совсем уместно. Это два. Ну, а в третьих, надеюсь, у нас будет время потолковать и о Боге.

— Да баптист он, товарищ старший политрук, — сурово пробасил пожилой новобранец. — В теплушке мы с ним вместе ехали. На фашиста, вишь ли, у него рука не подымется.

Рыжебородый посмотрел через плечо на говорившего и, смиренно осклабившись, примирительно вздохнул.

Комбат Мерзлов вступил в свои права и гаркнул на всю казарму:

— Прекратить разговоры. Отделенные выводить людей за постелями. Помкомзвода, проверить заправочку на нарах. Готовить роту к построению на саноработку.

И только на том же буйствующем ветру новобранцы поняли, о каких постелях говорил комбат. Отделенные приказали собирать в деревянных проемах маленьких окон набившиеся туда от ветра колючие перекати-поле.

— Набивайте, ребята, плащ-палатки этим пухом! — командовал сержант Зубрин.

— Торопись! — подзадоривали отделенные.

Новобранцы торопились набивать плащ-палатки колючим пухом даурской степи, согнанным со всей неоглядной округи к расположению третьей роты немислимо жгучим «самураем».

Скоро на высокбленных, пропахших карболкой нарах, лежали взбитые под плащ-палатками пуховики из перекати-поле, а в головы легли вещмешки.

Чуть позже, когда помкомзвода прошлись по рядам нар, залезли на нижние, чтобы взглянуть на заправочку вторых ярусов, появился старшина Куржумов и командовал:

— Рота, становись! А сейчас, соколики, вас ожидает чудесная баня с паром, ну а потом, конечно, долгожданная каша.

И выведя строй из расположения, весело приказал: «А ну, соколики, запевай!»
Археолог Новодумов звонким голосом, не торопясь, выговаривая каждое слово, запел:

Вставай, страна огромная!
Вставай на смертный бой!
С фашистской силой темною...

94

И, преображенный песней, строй новобранцев в один голос подхватил:

С проклятою ордой!..

Песня, еще совсем юная, оказалась всем знакомая и всем была по душе.

— Левой! Левой! Левой!

Комиссару девятого полка Никифору Андреевичу Подпалову в этот день было не до смеха, не до песен. Полковая баня, а, точнее сказать, большая палатка, готовая сразу принять до ста человек моющихся, оказалась в безвыходном положении. Четыре железных бочки, каким-то ловким умом соединенные между собой двумя прорезями в крайних бочках, вторые сутки глядели в полумрак палатки-бани раскаленными добела боками, но трижды проклятый все тот же «самурай» как метлой выдувал из брезентовой бани тепло и пар, струящийся из огромного бака, водруженного на эти бочки и наполненного водой. Но вода и тепло убывали на глазах, и весь мобилизованный на баню хозяйственный взвод полка вывез всяческое добро, способное воспламениться, гореть, давать жар. Даже обтирочные тряпки из техзвода, пропитанные мазутом, керосином, автолом, насыщали чрево ненасытного банного молоха. Но молох не сдавался, он требовал жертв, а их к тому часу, что был назначен началом мойки новобранцев, уже не было.

Командир хоззвода младший лейтенант Костя Перегудов, человек молодой, горячий, считающий свою должность в полку кровной обидой своей боевой биографии, которой, кстати сказать, еще не было, пребывал в горчайшем отчаянии. Он готов был хоть сию минуту пойти на губу за неисполнение приказа комполка, а как же иначе расценить фактическое положение данной банной ситуации, и с минуты на минуту, ожидая появления майора Трепетова, складывал слова безрадостного рапорта. Но комполка не появлялся, а вот батальонный комиссар Подпалов — вот он был на подходе. По степи, от расположения третьей роты, показалась длинная фигура, то и дело спиной поворачиваясь к ветру и перегнувшись в пояс. Кто бы из командиров и политруков девятого не узнал в этой фигуре своего Андреевича, как втихомолку меж собой называли командиры и политруки своего комиссара.

Костя Перегудов провел тыльной стороной меховой рукавицы по усталому, пожалуй, и неумытому сегодня лицу. Это у него-то — хозяина банного комбината такой конфуз, и он почувствовал себя приговоренным.

Подпалов подходил своими обычными широкими шагами спокойного уравновешенного человека. По походке, главным образом, узнавали его издалека.

Перегудов вышел навстречу, взял под козырек, собрался выпалить сложенный свой банный реквием. Батальонный, ответив на приветствие четким взмахом правой к околышку ушанки, обнял младшего лейтенанта за плечо.

— Ну что у тебя, банный бог, худо?

— Хуже не бывает, товарищ батальонный комиссар. Все сжег, что могло гореть, хоть сам полезай в жерло топок.

— Шаек хватает?

— Со всего гарнизона, товарищ батальонный комиссар, даже из редакции выгребил ведра, тазы, деревянные бадейки.

— Выгребил. Ишь ты, отыскал словечко. Ну, показывай сандуны свои.

Они зашли в палатку. Остановились у порога, сраженные горьковатым тяжелым паром, расползавшимся лохмами по заиндевевшему полу и поднимавшимся к закуржавевшему потолку палатки. Вначале, покуда не привыкли глаза, не могли стронуться с места, да и дыхнуть было трудно. Шаг, еще шаг. Костя Перегудов попустился честью хозяина своих сандунов и уступил право первопроходца комиссару. За его сутулой спиной, низкорослый младший лейтенант, как ему казалось, меньше глотнет жару-пару, дыму-копоти. Так они добрались до печки. Батальонный надел рукавицы и, держась за перильца лесенки, установленной от пола на бак с водой, полез на верхотуру.

— Товарищ батальонный комиссар! — взмолился командир хозвзвода. — Пар-то хлесткий! Осторожно!

Комиссар Подпалов действительно осторожно спустился вниз и, к великой растерянности Кости Перегудова, стал раздеваться. Он снял шинель, отнес ее в предбанник, огороженный от мыльни брезентовым пологом, и вышел оттуда босиком.

— Давай, Костик. Спыт看 не убыток. Командир он, брат, везде впереди, давай и в этот раз первыми.

Младшему лейтенанту ничего другого не оставалось, как последовать примеру комиссара. Перегудов поспешно начал раздеваться, но неожиданно уцепился за последнее и, как он думал, самое отрезвляющее:

— Товарищ комиссар, белья-то свежего...

— А для них?

— Конечно, припасено.

— Ну и нам хватит.

— Да ведь там такое...

— Какое?

— Монгольское.

— Что?! — комиссар уже снял нижнюю рубашку и остался в одних подштаниках. Жердистый, сухой, он оказался на самом деле твердо-мускулистым, с продолговатыми бицепсами, что чрезвычайно характерно для выносливого человека. Хлебоборские запястья и широкие ладони с длинными, сильными пальцами венчали жилистые руки — явное свидетельство симпатии к физическому труду. Стройные ноги, с тонкими прожилками вдоль сухих икр, видать, знали не только бока скакунов, но и безусловно относились к дальним дорогам пехотинца. Плечевой пояс, мослоковатая спина совсем противоречили впечатлению его сутулости. Бугрящиеся мышцами плечи как бы посмеивались над накладными плечами, которыми в то время любили украшать свои шинели многие командиры.

Костя Перегудов, торопливо снимая с себя одежду, просто залюбовался физической свежестью своего комиссара.

— Чего, младший, разглядываешь, как цыган коня на ярмарке?

— Любо-дорого, товарищ батальонный комиссар. Сколько раз можете подтянуться на турнике?

— А сколько понадобится. Будет желание, встретимся на спортплощадке. А сейчас у нас с тобой другая, брат, задача, — и Подпалов вновь полез по лесенке, чтобы

зачерпнуть черпаком на длинной деревянной ручке кипяток и перелить его в подставленную к подножию лестницы шайку.

— Подождите, товарищ батальонный комиссар, мне сподручнее, — кинулся Перегудов к лесенке, — обжечься можно.

— В том-то и дело, что можно. Это дело, младшой, надо немедленно усовершенствовать. Ищи шланг. У технарей наверняка такой реквизит найдется. Когда ко-мандиры отделений приведут новобранцев, прикажешь, чтобы один стоял наверху и всем из шланга разливал горячую воду, да чтоб в рукавицах верхний был. Да разливщика подберите ловкого, чтобы ростом вышел, вроде меня. Ошпариться при такой механизации дважды два.

— Будет сделано, товарищ батальонный комиссар.

Они мылись, плескались, терли друг другу спину заготовленными рогожными мочалками, покрхтывали, хохотали.

— А что, младшой, баня у тебя изобретательная получилась.

— Старались. Понимаем. Народ-то городской, а кто деревенский, тем парок подавай.

— Насчет парка это ты правильно заметил. Хорошо бы сообразить.

— Ну, где твое «монгольское»?

Костя исчез и вернулся с бельем, закостеневшим на ветру и принявшем ту форму, которую придали при развешивании.

— Да ты что, младшой?! К праотцам решил комиссара отправить? — хохотнул Подпалов.

— Я же говорю, монгольское. Красноармейцы так его окрестили. Натянут на горячее тело мороженое, оно и сохнет.

— Сушилку надо организовать. Позор. Начсандив или кто из медсанбата знают?

— Так точно, знают.

— Как же я не знал? Вот позор!

— Бойцы привыкли. Случается — дадут сухое, кричат: «Монгольское подавай. Закаляться надо».

— Закалишься на тот свет без путевки с твоим монгольским. Воспаление легких обеспечено, — напяливая на себя чуть оттаявшее белье, ворчал батальонный комиссар.

— Товарищ батальонный комиссар, да ведь это я не для вас. Вы приказали «монгольское», я и принес. У меня есть и человеческое белье.

— Для демонстрации, что ли?

— Ну...

— Нет, младшой, надевай и ты «монгольское», которое само сохнет.

Они оделись и вышли из мыльни. Подпалов ощутил щекочущий холодок меж лопаток и на груди.

Перегудов молчал.

— Простынешь, Костик.

— А вы? — совершенно растеряно и виновато смотрел младший лейтенант на замполита полка.

— Что всем, то и организаторам. Худо дело, Костик.

— Хуже быть не может, товарищ батальонный комиссар. Но...

— Что еще? — насторожился Подпалов. — Никак топливо кончается?

— Так точно, товарищ батальонный комиссар.

— Понятно, — уже начиная зябнуть, Подпалов передернул плечами. — Весь уголь, все дрова, что навезены к НДС нашего полка немедленно сюда! Начинать с моей землянки. Понятно, товарищ младший лейтенант?!

— Так точно, понятно, товарищ батальонный комиссар. А если где отпор?

— Я приказал. Выполняйте!

Комдив на видавшей виды эмке ехал с Мациевской. В дивизии было три легковых, да еще у подполковника Тонкопята обшарпанный «козлик». С десятков грузовых по полкам ходили на дровах. Их называли «газогенераторными».

Георгий Федорович Замотаев в стесненном состоянии духа сидел на заднем сидении, что подчеркивало плохое его настроение. Уж очень невесело было на душе его, а в такие минуты он не хотел, чтобы кто-либо, даже его молчаливый из молчаливых шофер Саша, наблюдал переживания командира, тем более, что они настолько привыкли друг к другу, что знали малейшую привычку каждого. Но при таком повороте общения комдив, конечно же, сам и обнажал свое больное место в душе. А Саша еще до того, как подполковник вышел из правления колхоза, догадывался, что приехали не по что и уедут ни с чем.

Вокруг военной машины собрался народ, тем более не посевная, не страдная пора, а так — стылое, промозглое даурское межсезонье. Когда-то, в стародавние времена, когда степь эта превращалась в опору России на предкитайской земле, рубились здесь острожки, с годами переросшие в крепости — станицы Даурско-Забайкальского казачества. Что пахари, что скотоводы, что служивые на кордонах не жаловались на судьбу, на свое дальнелесье от городов вроде Читы или даже Петровского завода. Но уж больно лютовало на Карымской ветке белоказачье семя атамана-земляка даурцев. Лютовало несколько лет, пока не пришло время бежать им под Хайлар да Харбин, на китайщину. Потекло и все богатство трудового казачества Даурии. Разорили его атаманы под орех, и на колхозный день здесь, на Карымской ветке по Аргуни ничего уже не осталось ни от сытости, ни от стати казачьей. Перед самой войной только стали подыматься, особенно в годы, когда вернули казакам России лампасы и папахи, фуражки с желтыми околышами и прочие знаки, подымающие дух даурцев-забайкальцев. Однако заметного благосостояния не успели достичь: ударила новая война, а уж она-то, как хорошая метла в худом амбаре разом выскребла нарастающий достаток, и ушел он вместе с казачьими душами в телячьи вагоны, везущие их на передовые позиции фронта. Может быть, поэтому, может, просто по-быстрому обнищанию без главных работных рук, но в бывших казачьих станицах на Карымской ветке трудно было просить помощи полевым частям поделиться хоть каким-либо продовольственным прибытком к жесткой продовольственной норме, по которой жила Красная Армия на Востоке в те военные, несказанно тяжелые времена.

Шофер Саша, окруженный этим первым барометром достатка крестьянской избы, уже по одному тому, что в руках ребятишек увидал желтоватые каменные лепешки вместо хлеба, а спросив малышню «чего гложете?», услышал слово «жмых», уже по одному этому молчаливый соратник комдива понял, что с грустной душой уедет командир от колхозников.

Свой рейд, что называется, с шапкой комдив скрыл даже от ближайшего друга Остапчука, не говоря уже о начальстве из продовольственно-фуражной службы, — и единственным свидетелем этого просительного рейда был шофер Саша. Подполковник побывал в дальних станицах, аж под самым Цугольским дацаном, забежала эмка и в Цокотуй-Милозан, перед войной зажиточную, бывшую казачью станицу. И где бы ни бывал комдив, везде слышал одно и тоже: «С удовольствием бы, товарищ начальник, да амбары пусты, на жмыхе — коровьем корме да картошке пробиваемся». Георгий Федорович знал, что его шофер догадывается, зачем начальство раскатывается по тылам, но вслух говорить о своей неудаче не хотел. Вот и сидел комдив, как на углях, на заднем диванчике, немыслимое число раз латаном-перелатанном обстоятельным на все руки мастером-шофером.

Что говорить, невеселыми были думы комдива, хотя с обмундированием новобранцев должно полегчать — округ на запрос ответил, что «посмотрят резервы ОВС». Раз не отказали сразу, значит заслонка в этом направлении наглухо не задвинута и можно ожидать хорошего результата. Всем, с кем встречался в колхозных конторах, Замотаев обещал подмогу на сенокосе и на страде, но и такое обещание не срабатывало, хотя председатели, в основном женщины, оживали душой от обещания комдива.

Забежала эмка и на хлебозавод Мациевский. Комдив интересовался дрожжами. Обещали немного сыскать в резерве. Встретился Георгий Федорович с комдивом новой, дислоцирующейся рядышком с ним дивизии, подполковником Герасимовым, человеком много старше и по возрасту и по армейскому стажу. Сосед оказался фронтовиком. Покалечили его дважды, подлатали и отправили на Маньчжурку готовить резервы фронту. Герасимов был рад встрече с соседом, обещал заглянуть «поучиться жить в земле».

Эмка, задыхаясь, вскинулась на последний крутик и зашипела паром из-под капота. Саша поставил машину на ручник. Замотаев оторвался от своих невеселых мыслей.

— Опять, Сашко?

— Опять, товарищ комдив. Разрешите отлучиться, воды надобно. В аккурат баня девятого рядом.

— Давай! — комдив посмотрел вслед убегающему с ведерком шоферу и вышел из машины.

Из бани навстречу шоферу вышел разгоряченный паром комиссар Подпалов. Впечатления от полковых сандунов переполняли возмущенный разум. А не он ли первый ответчик, как говорится, перед людьми и богом за то, что через час в эту палатку-баню придут новобранцы, рискуя получить ожоги, а после «монгольского» попасть в санчасть. В эти минуты Подпалов решил во что бы то ни стало начать строительство настоящей полковой бани — с паром, сушилками и прочими удобствами для нормального банного удовольствия. Подпалов, человек доступный для любого состояния души что солдата, что командира и политработника перво-наперво болел за солдатское благополучие. Оно, какими бы политинформациями не корми солдата, скрыто в котелке да бане, да в теплой, уютной, чистой казарме.

Узнав шофера комдива, батальонный комиссар насторожился. Раз Сашко здесь, значит и комдив неподалеку. Что-что, а встретиться с комдивом возле бани Подпалов не рассчитывал и совсем не потому, что боялся строгого спроса, а чисто по-человечески стыдился душевности старшего начальника.

— Откуда путь, друже? — спросил батальонный у шофера, отковырявшего ему с улыбкой.

— Да остановочка вышла непредвиденная у нас с товарищем подполковником.

— Далеко ваша остановочка произошла?

— Да вон за увалом. За водой я. Кипит моя эмочка, долгомученница.

На гребне увала показался подполковник Замотаев.

Подпалов пошел ему навстречу. Незаметно для самого себя убыстрил шаги и почти бегом взлетел на увал. За несколько шагов до комдива перевел дух, взбодрился и шага за три взял под козырек. Комдив протянул руку, засмеялся.

— Видать, с легким паром вас, Никифор Андреевич!

— Спасибо, товарищ подполковник. Спробовал мурцовки.

— Ну и как эта самая мурцовка, на ваш взгляд?

— Худо, товарищ комдив. Не простудить бы народ.

Вглядевшись в осунувшее лицо комдива, сразу угадал — Батя ездил далеко и, верно, возвращается не солоно хлебавши. Мелькнуло в уме — «за приварком по колхозам носился». И таким близким, родным, понятным показался комдив, что батальонный с трудом удержался от порыва обнять его.

То ли угадал комдив сердечную размягченность комиссара девятого, то ли стеснила его душу отрава разочарования от поездки, он глуховато произнес:

— Понимаешь, Андреич, бегали мы с Александром по округе, между нами говоря, милостыню канючили, и вот... — он, словно бы извиняясь за свою незадачливость, горестно улыбнулся, — видать, хреновый я дипломат.

— Да... Тыл-то, он ведь не бездонный мешок, не колодец, а фронт требует, черпает.

— Тыл! Да разве мы с тобой в тылу, Андреич? Где тут тыл, где фронт, не разберешь. Тяжело бойцу здесь, а этим, уже наголодавшимся на карточках, к нашей баланде грустновато ложку тянуть.

— Я, товарищ подполковник, хотел у вас разрешения просить команду охотников оформить. Тайга должна нам руку протянуть. А еще есть у меня мыслишка...

— Говори, говори, Андреич! — повеселел комдив, в душе дивясь сходству их душок разжиться из закромов таежного приаргунья.

— Можно ведь и за джейранами побегать. У товарищей монголов степь кишит ими. Округ бы только разрешил.

— Садись, Андреич! — широко распахнув дверку автомобиля, комдив тронул за плечо батальонного. — Ты в дивизию?

К этой минуте командир хозвзвода младший лейтенант Константин Перегудов уже осуществлял приказанную ему комиссаром полка операцию. Залив в радиатор машины воду, Саша готов был двинуться с места, но вдруг забарахлил топливный насос. Пока Саша возился с ним, мимо комдива и комиссара проследовали три пароконных подводы с телегами, похожими на глубокие корыта. Корыта эти с верхом были завалены каменным, драгоценнейшим в степи углем из недавно открытых на Карымской ветке Харанорских шахт.

99

Подводы уже проследовали мимо эмки, и Подпалов сделал вид, что не видит маленького, но драгоценного обоза. Он знал, что если комдив обратит внимание на данный транспорт, неминуемо предстоит объяснение.

Положение обострилось неожиданным появлением из бани командира хозвзвода. Младший лейтенант, не обращая внимания на комдивовскую машину, бежал

навстречу своему спасительному транспорту. Печи угасали, а пополнение вот-вот должно было нагреться. Уже парочка полковых парикмахеров с санобработчиками ожидали своей работы. Костя Перегудов приближался к обозу, что проследовал мимо эмки. Именно этого и ожидал Перегудов. Теперь можно не докладывать высокому начальству и вообще сделать вид, что в пылу забот не придал особого внимания появившемуся откуда неведь обозу. Однако комдив заметил обоз и командира хозввода. Подполковник удивился, откуда уголь и почему его везут не в дивизию, а словно бы наоборот, из дивизии. Конечно, Замотаеву стало ясно, что уголь предназначен для полковой бани. Удивляло другое, во-первых, многовато, а затем странный маршрут со станции, а кони свежие.

— Товарищ младший лейтенант!

Перегудов, успевший показать спину начальству, не осмелился прикинуться глухим, хотя скрип заколоченных колес подвод действительно приглушил голос комдива.

Перегудов повернулся, сделал удивленное лицо, словно увидел начальство только что и побежал на зов. Не успел младший лейтенант доложить по форме, кто он и что здесь делает, как комдив сам обратился к нему с вопросом:

— Откуда дровишки, товарищ младший лейтенант?

Вот она каверзная неожиданность операции «уголь». Сослаться на приказ сидящего рядом с комдивом комиссара полка, язык не повернется. Сказать, что самотийно выгреб уголь возле землянок командиров и вообще там, где он «плохо» лежал, пожалуй, это единственный верный вариант. Беру огонь на себя, решил Перегудов.

— Так что же молчите, товарищ Перегудов? — комдив мог простить изобретательность подчиненного, если она не вредна ни личности, ни обществу. Он начинал понимать, что уголь подвезен нечистым путем. — Ну! Отвечайте!

— Я приказал, товарищ комдив. От меня воз и от других землянок помаленьку... — Подпалов не для выручки младшего лейтенанта выправлял конфуз, в который попал Перегудов. Дело не в этом. Дело в том, чтобы комдив не приказал обратно отвезти уголь, отменив приказ комиссара.

— Хорошо. Понимаю, жертва самоотверженности. Но почему вы оказались со своим обозом здесь, Перегудов? — комдив мягчел голосом, но командир хозввода, ободрившись поддержкой комиссара полка, понял, что обратной дороги не будет.

— Виноват, товарищ командир полка.

— В чем вы виноваты, младший лейтенант?

— Боялся на глаза попасть...

— Кому? — с удивлением спросил комдив. — Значит, замечали следы, по лощинке в сторону, а потом: «Да мы со станции везем». Так, что ли, Перегудов? — неожиданно засмеялся комдив.

— Точно так, товарищ командир дивизии.

— Ну что там у тебя, Сашок?

— Все в порядке, товарищ подполковник, можно ехать.

Эмка выручила хозяина полковых сандунов от дальнейшего непереносимо позорного разговора с комдивом, да и комиссар полка на второй ответ младшего лейтенанта покачал головой. Вот уж кого-кого, а Подпалова Костя Перегудов под какой-либо удар ни за что бы не подставил, а ненароком получилось. И надо было ему

выскочить из палатки! Он не стал счастливее от того, что разговор в общем-то закончился для него благополучно... А впрочем, как сказать, цыплят по осени считают. Вот только бы вымыть всех, остричь, обусть, одеть, а там хоть на губу. Перегудов посмотрел вслед удаляющейся эмки и про себя подумал: «Наверное, чем начальство выше, тем, должно быть, умнее. Или только так кажется?»

А комдивская эмочка, кашляя и кряхтя суставами, вкатывалась в гарнизон. Замотаев и Подпалов молчали. Непонятно было только комиссару, с чего это рассмеялся комдив. Оказывается, все бы ничего, да не хватает обмоток. А уж этого товара в дивизии не ищи. Все запасы старшин перетрясли, как сказали работники ОВС-дивизии.

— И понимаете, Никифор Андреевич, — неожиданно перейдя на вы и продолжая смеяться, рассказывал комдив, — звонят уже не в свои ведомства полков и отдельных рот, а прямо в штаб дивизии. Обмотки! Обмотки! Обмотки! — откровенно хохотал Замотаев. — А знаете, Андреевич, если останемся живы после предстоящих нам с вами сражений с врагами отечества нашего, то заботы нынешнего дня, честное слово, вспомнятся как милейший анекдот.

Эмка затормозила возле вахты штаба. Замотаев вышел первым, за ним Подпалов. Уже входя в проходную, комдив обернулся к батальонному:

— Так вы заходите ночевать ко мне. Места хватит.

— Благодарю, товарищ подполковник. У меня есть место, где могу преклонить голову.

— Как знаете, Подпалов. У вас есть, а у тех, у кого вы приказали уголь взять? Ну ладно-ладно. А команду за джейранами и вообще в тайгу готовьте. У вас там старший лейтенант Гилев — великолепный снайпер. Вот с него и начинайте, — посоветовал комдив, нисколько не сомневаясь, что комиссар отлично знает снайпера Гилева. — Вы о чем еще?

Эта странная черта Замотаева проникать в чужие мысли, замечать тайное желание собеседника и угадать, и высказать заветное, всегда смущало и восхищало Подпалова, да и многие командиры в дивизии и люди знали: Батя сквозь шинель и поглубже видит. Лучше в открытую.

И на этот раз, как всегда с комдивом, батальонный комиссар пошел в открытую. Невысказанные и терзающие душу мысли отягощали жизнь. То, что он испытал сейчас в дивизионных «сандунах», не давало ему покоя.

— Товарищ подполковник, могу я вас просить...

— Ну-ну, да что вы, право, Андреич!

— Простите нам это безобразие с «шушерой».

— Почему же вам, Никифор Андреевич?

— Знаете, товарищ подполковник, комиссары за все в ответе.

— И даже за начальство свое? — комдив повернулся спиной к двери вахты. Высокий, поджарый, тонколицый стоял сейчас перед таким же высоким, поджарым, тонколицым Подпаловым. Они были очень похожими друг на друга. Только Подпалов сутулее и старше, да по лицу в разбег, в накладку — тяжкие мужские морщины, а у Замотаева лицо чистое, гладкое.

— Даже, товарищ подполковник. Видите ли, когда человек оценивает ситуацию не тем словом, в запале, так сказать, это вроде как оступился человек. Поправится и снова крепко стоит, твердо ходит. А вот если продуманно, спокойно назвал событие

ошибочным, порочным словом, значит, или не понял ситуации, а это для старшего командира хуже, чем тактическая ошибка в бою, или, что еще пагубнее, не в состоянии понять.

— Вы как, комиссар, думаете: не понял, не в состоянии понять?

— Разрешите мне воздержаться от оценки, товарищ подполковник?!

— Не неволю. Вы куда сейчас?

— В политотдел. Товарищ Ярусов на совещание пригласил.

— Ах, Ярусов. Ну-ну. Так заходите, Андреич, на огонек вечером. Пластинки послушаем. Вы как, классиков терпите?

— Спасибо, товарищ подполковник. Терплю.

Возле проходной они расстались. Подпалову так не хотелось идти на совещание к Ярусову, что он решил заглянуть в медсанбат, но, передумав, пошел в политотдел. По дороге почувствовал, что озяб, и вспомнил — это подсыхало на голом, распаренном теле, согретом в машине, «монгольское» белье, которое наденут сегодня новобранцы.

Глава четвертая

Анвар Хаснутдинов. Археолог Новодумов

Анвар Хаснутдинов трудно запоминал фамилии бойцов и при любой возможности доставал из нагрудного кармана гимнастерки записную книжку. Уже неделю бойцы были в карантине. Запомнив черты каждого, даже рост, цвет волос, манеру говорить, он на каждом занятии по матчасти или по Уставам чувствовал свою беспомощность перед необходимостью вызвать и спросить бойца. На все хватало памяти, а на фамилии нет. Не скажешь: «Эй, товарищ красноармеец с черными волосами!» или: «Товарищ красноармеец с плохо пришитой пуговицей на правом мане гимнастерки».

Та каверзная история, что произошла в первый день формирования его отделения, когда он так незадачливо выступил перед новобранцами с требованием уважения к своему чину и званию своим «ты меня не тычь, я вам не тебе», до колик в животе насмешила не только его роту, но и все расположение казармы. Та история немного была смягчена беседой с младшим политруком Кадиевским.

Михаил Яковлевич сделал вид, что не интересуется причиной смеха, тем более что в тот момент ему было не до смеха — баптист Левандуев требовал к себе внимания. Вызвав причину всеобщего смеха новобранцев, Кадиевский решил выправить нежелательную ситуацию. Авторитет командира отделения — корень дисциплины армии. Командир отделения никогда не разлучается с бойцами. Даже родители меньше находятся среди детей, чем в армейские годы командир отделения среди своих подчиненных. Значит от верности друг другу, от крепости этого союза, от родственности душ, интересов командира и его подчиненных берет начало родник, порождающий океан — Красную армию. И этот родник всегда, при любой погоде, при любых потрясениях и недоразумениях должен оставаться чистым. Никто и ничто не имеет прав замутить этот родник. Вот так говорил младший политрук из политотдела дивизии Анвару Хаснутдинову, отозвав его за нары, в угол.

Анвар значения некоторых слов политрука не очень понимал, но весь разговор, даже с интонациями голоса, все слова младшего политрука запомнил так ясно,

что мог сейчас, как рапорт, произнести вслух. Такой длинный разговор запомнил, а как фамилия того пожилого черного новобранца, который крикнул, что рыжебородый — баптист, Анвар не помнит. Не помнит он фамилию высокого правофлангового «ахеолога». Что это за слово такое, с чем его едят? Но разве обязательно знать это командиру отделения Анвару Хаснутдинову? У него голова пухнет от подробностей уставов и наставлений, от мельтешащих в памяти частей оружия, пришедших в дивизию на вооружение. А ведь еще надо уметь толково и доходчиво объяснить взаимодействие частей пулеметов и личного оружия, да и с гранатой не так-то просто научить обращаться. Конечно, Анвар все эти премудрости постигает не первый год. Срочную сам крутился около старичков. От комроты до командира отделения в рот заглядывал, записывал в книжечку каждое непонятное слово, название матчасти, а теперь сам обязан учить этих великовозрастных всему, что необходимо знать молодому бойцу.

Младший политрук правильно понял. Вы, говорит, товарищ Хаснутдинов хотели внушить своим подчиненным обязательное в Красной Армии святое правило — правило уважения командиров любого ранга. Никаких тыканий. Это вы безошибочно сделали, но слова не те выбрали, поволновались, поспешили. Сам потом собрал взвод, именно весь взвод, а не только его отделение, повторил причину неудержимого смеха. Только слова командира отделения повторил сурово, без намека на улыбку, и смеха они не вызвали. Затем разъяснил новобранцам, раз человека в серой солдатской шинели уважают в стране от мала до велика, то и сами они должны относиться друг к другу бережно, а наставников своих — командиров — слушаться беспрекословно. Вот товарищ младший сержант Хаснутдинов, командир отделения, хотел внушить необходимость уважения друг к другу и к нему как к командиру отделения. В армии это самое уважение начинается просто с обращения. Неуважительное обращение оборачивается суровым определением «нарушение дисциплины», особенно, как вы понимаете, в военное время.

Ох, и голова же этот младший политрук Кадиевский из политотдела дивизии. И где только так научился правильно говорить? Сразу все понятно, и никто даже не улыбнулся. Наоборот, этот археолог просил командира отделения извинить их за неуместный смех и сам сознался, что он главный ответчик за случившееся. Анвар точно помнит. «Извиняюсь за всех», — сказал археолог. Все помнит Анвар. Даже взгляд этого археолога, такой взгляд, такой взгляд... Нет, Анвар еще не знает такого русского слова, чтобы сказать правильно про этот взгляд. Вообще, кажется, археолог — человек стоящий, и боец из него должен получиться отличный. Назначить надо его первым номером на станкач. А вторым к нему? Кого же вторым? Сильного надо — каток часто на себе приходится носить на учениях и в походах, а то и коробку с пулеметными лентами. Пусть идет вторым номером этот рыжебородый. Вот, правильно решил! Рыжебородый — вторым номером на станковый, приданный к отделению — один на взвод. Это ведь тоже надо оценить, немалая честь его отделению — станковый! Кроме ручного, теперь в отделении есть и станкач. Так что огневых средств у Хаснутдинова больше, чем у других командиров отделений. Постой-постой, а ведь рыжую бороду тому баптисту в бане сбрили. Он чуть не плакал, противиться начал: «Не дам бороду. Я человек, и только Бог может приказать мне то, что я не приемлю». Но позвали Анвара, и он приказал: «Сбрить!». Усы можете оставить,

а с бородой бойцу Красной Армии, да еще в условиях карантина, ни гигиена, ни порядок не позволяют. С бородой обошлось, а вот когда стали брить волосы во всех частях тела, баптист завыл от ярости и шайкой загородил причинное место. Какое он слово кричал? Не слышал такого слова Анвар... «Кошунство!». Что такое за слово? Надо будет потом младшего политрука спросить. Товарищ младший политрук приказал: «Вы, Хаснутдинов, всегда спрашивайте о том, что вам не понятно. От этого вы только станете сильнее, а ложная стеснительность — недостойное для командира качество».

Улан-Удэ. 27 марта 1974 г.

Рукопись предоставлена сыном писателя — Б. С. Метелицей.

Андрей Румянцев



Румянцев Андрей Григорьевич родился в 1938 году в селе Шерашово Бурятской АССР. Окончил Иркутский государственный университет, Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Работал в региональной печати, на телевидении и радиовещании, в Литинституте им. А. М. Горького. Публиковался в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Октябрь», «Юность», «Огонёк». Автор более двадцати поэтических и прозаических книг. Народный поэт Бурятии. Лауреат ряда литературных премий. Живёт в Москве.

Два рассказа

Встреча фронтовика

Первый фронтовик, Сергей Огурцов, вернулся в деревню весной сорок третьего. До этого, месяца три-четыре, его жена Мария не получала от мужа никаких известий. Смуглолицая по родове, Маша почернела еще больше и ходила на колхозную работу через силу. Когда вечерами она шла домой с пятилетней дочкой у подола, то казалось, что это подняли с постели человека при смерти и отправили полуживого на погост. Помутненным разумом Маша уже точно знала, что ее Сергей лег в чужую землю, и только не могла додумать, как она поднимет на ноги четверых своих девчонок, которые обретались в пустой и голодной избе.

И тут, как молния среди слепого, затяжного морока, — письмо из госпиталя. Еще не разобравшись толком, что за конверт принесла ей почтальонка, а лишь взглянув на чернильные буквы, Мария осела там, где стояла, — у открытых ворот, на их грязный порожек: «Живой! Его рука!» И в голос завывала.

Молодая почтальонка, которая чуть ли не каждую неделю слышала такой вой и видела баб, распластавшихся у ее ног и царапавших ногтями землю в черном, незаслуженном и проклятом горе, тут осерчала и возмущенно закричала на Марию:

— Дура! Он живой, а она воет! — девчонка дернула солдатку на ноги и толкнула к крыльцу. Ей хотелось первой услышать новость, которая через час разнесется по всей деревне.

Из письма Мария узнала, что ее Сергею оторвало снарядам обе ноги, что поначалу, когда очнулся в лазарете, он не хотел жить, но в Омске, в госпитале, его

починили и теперь, хочешь не хочешь, живи калекой. «Не такого ты ждала, Маша!» — выстонал в конце письма Сергей, забыв даже передать поклоны родственникам, как делал это раньше.

Деревня ополоумела. Везде — в избах, у бригадной конторы, на ферме, тонувшей в талом навозе, у склада с неводами, еще пахнувшими прошлогодней тиной, — одни разговоры: «Сергей Огурцов едет!» Гадали, когда и на чем он приедет, кто его, безногого, носит с места на место; рассказывали такие подробности ранения солдата, которых вовсе и не было в письме; сообщали «точно», что за последний бой земляк получил большой орден — а как же, обе ноги человек потерял, как не дать орден?

Председатель послал за Марией нарочного. Она пришла с письмом, догадываясь, что Василию Федоровичу не терпится прочитать его, — и, конечно, не ошиблась. Председатель на три раза перепахал глазами листочки, шевеля губами, и время от времени скорбно качая головой.

— Ты вот что, Михайловна, — начал он, возвратив конверт. — Ты наперво себя устрой... девчонок тоже... Возьми баб, вымойте избу, приберите во дворе. Выписываю тебе пять килограммов муки и полпуда рыбы. За вином не мечись... принесем в складчину... Знай, стряпай, а подвода на станцию, провожатый — это все за мной...

Встречали Сергея огромной толпой у Марусиного подворья. Когда брат фронтовика Кузьма, уже пожилой, изработавшийся, остановил коня у верей, народ хлынул к повозке, обступил ее так тесно, что Марии и девчонкам пришлось протискиваться к солдату, ожидавшему их с вытянутыми руками. Сергей был бледен и худ, но побрит, аккуратно подстрижен и в незастиранной, почти новой гимнастерке. На ней золотилось несколько наград, может быть, медалей, но разве для деревни важно, медали это или ордена; всяк подумал: а ведь правду говорили про орден!

Маша, упав на повозку, обеспамятев, долго держала голову мужа, не стеснявшегося своих слез, и опять выла, но уже не по-кладбищенски, а живым, теплым голосом. И плакали навзрыд дочери, переломившись худенькими телами и дотянувшись до отца. Плакала вся толпа: старики, неловко стирая корявыми пальцами неуправляемые слезы, смахивая их в весеннюю черную кашу под ногами, бабы — с подвывом. То тут, то там поднимала иная вдовица высокий, обреченный, смертный крик и обрывала его, бессильно уткнувшись в плечо односельчанки или упав кому-то на руки.

Председатель тоже протиснулся к повозке, с поклоном снял картуз, долго, родственно обнимал солдата, что-то шептал сквозь слезы.

В избе уже были накрыты столы, поставленные цепью, от порога до горничного окна. Кузьма с племянником-подростком, подхватив фронтовика под мышки, пронес его в передний угол. Сергей жадно оглядывал родные стены, гладил рукой лавку и столешницу, будто проверял, надежны ли они, как прежде...

Живо помнится это застолье: шумный, разноголосый говор, неожиданный плач, чей-то веселый выкрик и долгий смех за ним, потом опять плач... Мы терлись около матерей, тесно сидевших за столом; каждая, не таясь, совала своему оборванцу обломок жареной рыбы, рванный кусочек булки, стакан с недопитым киселем. И казалось возвращение первого фронтовика таким праздником, за которым придет совсем другая, сытая и теплая, жизнь, потому что каждый из нас, сопленосых, ожидал своего солдата: вдруг он приедет с войны завтра и зайдет в дом на собственных ногах! Бывают же чудеса!

Из всех разговоров застолья в память врезались слова деревенской дурочки. Она была седоволосой, морщинистой, с ласковыми глазами, и все звали ее не иначе, как по имени-отчеству. Александра Петровна улучила минутку затишья и, уставясь на медали Сергея, громко и ласково пообещала ему:

— Дай Бог, вырастут ножки! Вырастут, дай Бог!

Никто не прыснул, никому эти слова не показались смешными и глупыми. Отмеченные судьбой глаголят истину. Александре Петровне закивали: может быть, теперь начнут приходить оттуда живые. Дай-то Бог!

«Скажи-ка, дядя...»

Сельцо наше о семидесяти дворах — немыслимая глушь, но о солдатах, побывавших на фронте, только и можно было сказать: ну, это тертые ребята! Безунывные и бесшабашные, они, казалось, балагурили, пели, плясали и за тех сорок семь односельчан, которые не вернулись домой. Да что говорить!

Мальчишкой я все приставал к соседу Ивану Никаноровичу:

— Никанорыч, а как ты ногу-то потерял?

Он вскидывал сивую лохматую голову, как конь на лесной поляне при оводах, и скучным голосом отвечал:

— Сам, паря, не знаю. Бежал с ребятами по увалу, голосов не слышал, одни взрывы. Тут, там... Вдруг сзади меня как жახнет! Я, как во сне, увидел: моя нога к небу летит! Ей богу: сапог-то мой, сапог я не спутаю с чужим!

— А дальше?

— А дальше известно. Очнулся в полевом госпитале. Приходит врачиха, фигуристая така баба. Спрашивает: «Как, Иван Никанорыч, ночевал?» Я отвечаю: «Ни ... себе ночевал». Она мне: «Вы што же это материтесь?» А я ей: «Извиняйте, у нас в Шерашово все так говорят». «Жалобы, — спрашивает, — есть?» Я: «Больших жалоб нет, а малая найдется. Подушку у меня кто-то спи...л, без подушки маюсь». Она аж заикаться начала: «Вы... Выдайте ему подушку!» И — за дверь.

— Что же ты, в самом деле, так с женщиной разговаривал?

— Молодой был, дурак. Накатывало на меня: сосед, мол, с ногами, а я калека. Несправедливо!

Моего родного дядю, Якова Иннокентьевича, тоже покалеченного на фронте — на боку его шершаво бугрился страшный рубец, — трудно было раскоцегарить. О войне он не рассказывал. Может быть, не находил слов для нас, огольцов. На войне, думал я, все истории неожиданные и страшные. Пугать ими дядя Яша не хочет, а сочинять, посмеиваясь, не привык. До войны он закончил семилетку, работал в райкоме комсомола и на фронте был политруком. Чаще всего он подталкивал меня к брату:

— Вон к Ваське иди. Он тебе о своем геройстве так расскажет — кино не надо.

Тот был постарше и, в отличие от дяди Яши, выдумщик. Его взяли в армию в тридцать восьмом. Служил он пограничником на Дальнем Востоке. Пришло время снимать шинель — а тут война. И застрел солдат еще на пять лет.

В августе сорок пятого, когда наши войска ударили по Квантунской армии японцев, дядя Вася с однополчанами пошел по Маньчжурии во втором эшелоне. Пограничники зачищали освобожденную территорию от остатков самураев.

— Наткнулись на сарай, — привычно травил дядя Вася, чаще посматривая на взрослых, наостривших уши, чем на меня, пацана. — Старший предупредил: там могут быть японцы. Бери, говорит мне, отделение, зайдешь с тыла... Начали штурм с двух сторон. А сарай-то весь в бурьяне, трава высоченная. За сараем выстрелили, мы ответили. Слышь, никаких японцев не оказалось, а в нашем взводе — трое раненых...

Мне такие истории, без подвигов, были не интересны. Но я не переставал смотреть на медали дяди Васи, на его тонкую, танцующую фигуру. Не мог я забыть первую встречу с ним...

Утром того дня кто-то позвонил со станции в колхозную контору: пусть, мол, Аграфена встречает сына. Бабушка отстала от ума. Чуть ли не с год, ежедневно и ежечасно, ждала, а тут — нате: весть застала ее врасплох!

— Лезьте на крышу, смотрите, не идет ли, — приказала бабушка, и мы, пяток внуков, кинулись во двор.

Лучше всего проселок просматривался с бани. Она стояла в углу ограды, и дорога с ее крыши была видна, как на ладони, не заслоненная серыми ширмами соседских домов. Я, как самый настырный, сел на конек, впереди всех.

Но проходил час, другой, третий, а никакой солдат не появлялся вдалеке. Бабка кликнула на обед — никто не оставил дозорного места. От солнышка мы посоловели, уже не ерзали бойко по скату крыши, реже взглядывали на дорогу слезящимися глазами. Пешеходы будто поклялись забыть о нашей деревне. Только обыкновенная телега с длинной темной поклажей и мужиком на передке свернула с проселка к домам.

Я уже высматривал за обрезом крыши, внизу, травяной пятачок без крапивы, чтобы прыгнуть туда, как вдруг в створке ворот появился человек в зеленой одежде, в такой же фуражке с темным глянцевым околышем и с медалями на груди. Бабушка Груня сидела на крыльце и сыпала в корытце семечки для кур. Вдруг она вскрикнула и метнулась было к воротам, но схватилась за полисадник и стала оседать. Солдат бросился к ней.

Мы посыпались с крыши. Я не помню, как подбежал к дяде Васе, за кем по очереди обхватил его шею. Я только знал, что человек, о котором бабушка твердила каждый день, такой же родной для меня, как она сама, как мои отец и мать...

В первые дни новой жизни дядя Вася обошел родню. Больше, чем в других деревнях, ее было в Жилино, красивом селе на берегу Селенги, перед впадением ее в Байкал. Здесь родилась бабушка.

За столом у ее сестрицы пограничник поинтересовался девушками.

— У нас все невесты на ферме. Сходи-ка туда, — посоветовала хозяйка племяннику.

Коров доили прямо на речном берегу, под навесом. У изгороди зыркавшего глазами солдата встретила приемщица молока.

— Вы кого ищите?

— Невесту.

— Чью?

— Свою.

— Девки! — оглашенно крикнула баба на весь двор. — Жених пришел!

Девчонки побросали работу, подступили к высокому ладному пограничнику.

— Ну, выбирай, — продолжила игру приемщица.

Василий указал на высокогрудую дивчину с кудряшками и пухленькими щеками.

— Губа не дура, — засмеялась баба.

— Пойдешь за меня? — спросил Василий.

— Ишь ты, какой шустрый!

— Не ходи, Дуська, — подсказал кто-то. — Он не первой тебе предлагает.

— До этого таким, как ты предлагал, а теперь покрасивше выбираю...

И что вы думаете? Через два дня привез дядя Вася домой жену, Евдокию Петровну. Говорили, что дело решила ее мать.

— Ты, слышала, Агрофенин сын? — будто бы спросила она торопливого жениха, заявившегося в чужой дом после похода на ферму. И получив ответ, посоветовала дочери: — Выходи, дочка, лучшего не найдешь.

Через неделю после свадьбы дядя Вася уже работал трактористом, как до войны. Расстегивая грязную спецовку, он рассказывал тете Дусе, которая держала ковш с водой, мыло и полотенце, что он запахал у Николина поля... медвежью берлогу и завтра не поедет туда, потому что боится зверя. Тетя Дуся заливалась легким молодым смехом:

— Зачем я пошла за такого героя?

Дядя Яша был, конечно, серьезней. К нему приходили солдатки, старики и даже свой брат — фронтовики, вели разговоры о продуктовых карточках, об устройстве какого-то сироты в школу ФЗО¹, о запросах на пропавших без вести. И, помнится, дядя Яша чуть ли не на второй день после фронта стал ездить в район, хлопотать за односельчан. А ведь и он жениховствовал, пел на гулянках, плясал, зажимая рукой шрам на боку. Брат моей матери, он женился на младшей сестренке моего отца, к радости обеих бабушек, и вскоре стал председателем нашего колхоза...

¹ ФЗО — популярные после Отечественной войны школы фабрично-заводского обучения.

Улица Лимонова

Десять тысяч дней мужества

110



Н. И. Лимонов

Биографическая справка: Николай Ильич Лимонов, родился в 1926 году, в семье рабочего ЛВРЗ, тогда — паровозо-вагонный завод (ПВЗ). Там же на ПВЗ он и работал в годы Великой Отечественной войны. В 1944 году поступил в Иркутское летно-военное училище, в мае 1945 года окончил его в звании сержанта и получил назначение в авиационный полк под Читой. В июле полк был направлен в Монголию для боевых действий против Квантунской армии Японии. Во время одного из перелетов на самолете Як-76 фонарь кабины случайно открылся, и Николай Лимонов был травмирован сильным ударом потока воздуха. После этого он был списан по инвалидности и продолжил работу на ЛВРЗ. Болезнь, вызванная травмой, стала прогрессировать, лечение результатов не принесло. Николай Лимонов со временем потерял способность двигаться, потом и зрение. Несмотря на тяжелое состояние, занимался литературной и журналистской деятельностью, его перу принадлежит повесть «О пережитом и пройденном». Не способный держать перо сам, он диктовал текст помощникам. Ввиду стойкости духа, оптимизма и неиссякаемой энергии, несмотря на тяжкую болезнь, являлся своего рода моральным авторитетом для работников ЛВРЗ и жителей микрорайона, постоянно был окружен почитателями. Умер в 1976 году, всего из 50 лет жизни 27 лет он жил без зрения и способности двигаться.

«Парень с внешностью киноактера, обаятельной улыбкой, до чертиков ехидный к своим и чужим слабостям. Юморист и хохмач, разговор с которым чаще всего заканчивается гомерическим хохотом собеседника. Юмор, розыгрыши, шутки — это для нас. А себе остаются бессонные ночи, тело, непрерывно терзаемое болью, муки, о которых знает только подушка. А мы опять идем к нему, идем понять, идем с жалобами, бедами, неудачами и, как всегда, возвращаемся умиротворенные, успокоенные... Нам повезло на друга».

Эта запись в «Книге друзей», как и многие другие, ей подобные, осталась удивительным свидетельством мужества нашего земляка Николая Лимонова, воспитанника комсомолии Улан-Удэнского ЛВРЗ, участника Великой Отечественной войны, который более четверти века был прикован тяжким недугом к больничной койке.

Николай Лимонов вырос в рабочей семье. Отец и мать работали на Улан-Удэнском ЛВРЗ. Туда же готовился пойти и Николай, поступив после окончания семилетки в ФЗУ. Но началась Великая Отечественная война, и, заменяя отцов и старших братьев, ушедших на фронт, вчерашние «фабзайчата» встали к станкам. Как и многие подростки-комсомольцы, Коля несколько раз приходил в военкомат с просьбой направить его в военное училище, но получал отказ: «Годами не вышел! Подрасти еще...» Лишь в 1944 году его и еще нескольких 16-летних ребят зачислили в Иркутское военно-техническое училище. Фронту нужны были авиационные специалисты, и курсанты учились в ускоренном темпе. Выпуск группы совпал с полным разгромом фашистской Германии. 8 мая 1945 года, за день до окончания войны, Николаю Лимонову присвоили звание сержанта, и он получил назначение в авиаполк, базировавшийся под Читой.

В июле авиаэскадрилья, в которой служил Николай, приземлилась на берегах монгольской реки Керулен, где находились подразделения ПВО, прикрывавшие с воздуха советские части, сосредоточившиеся для удара по японским милитаристам. 9 августа наши войска перешли в наступление. Квантунская армия японцев оказывала упорное сопротивление. Оставались считанные дни до окончания второй мировой. Но войны чужды человеческой логике. В последний день войны солдаты падают в бою так же, как и в первый. Лимоновым повезло. Их сын вернулся, хотя и контуженным.

Правда, он пытался скрыть следы контузии: был договор с командиром, что после войны его пошлют в летное училище. Но в медицинской справке значилось: комиссован как инвалид второй группы. В 19 лет пенсионер? Он не мог смириться с этим. Крепыш, спортсмен, косая сажень в плечах. А головные боли пройдут. Он поднажмет на спорт, на режим. Он еще будет летчиком.

Вернулся на родной локомотивагоноремонтный завод, завертелся в гуще молодой жизни. Самодеятельность — он великолепно поет, играет на баяне, пляшет. А как свищет соловьем! Недаром в 43-м на смотре самодеятельности трудовых резервов в Москве номер ремесленника из Улан-Удэ Лимонова — художественный свист — получил приз. Спорт. Он физорг модельного цеха. Еще он пионервожатый. Еще вечерняя школа. И — любимое — секция бокса.

Но болезнь наступала стремительно, грозно. Не помогали бюллетени и лекарства. Пришлось лечь на обследование. В больницу вызвали родителей. Именно с той самой первой его больницы и началось между родителями и ним негласное соревнование в мужестве. «Пусть только мы знаем, как тяжело болен сын», — говорили родители между собой. «Хорошо, что они не догадываются, что приходится терпеть мне», — радовался он. Он уже понял, что его ожидает страшное: он слепнет...

Однажды, еще до больницы, у него отняли ружье. Тогда казалось: не пережить диких головных болей, хотелось покончить все разом. Он не раз повторит впоследствии: ненавижу нытиков! Если суждено умереть завтра, зачем начинать плакать сегодня. Москва, клиника Бурденко. Выписан без улучшения. Из медицинской справки: больной никогда не жалуется на тяжесть своего состояния...

Жизнь — словно боксерский поединок с болезнью. Противник беспощаден. Слепота прогрессирует. Не ждать чуда, бороться! В рекордные сроки он изучает брайлевский шрифт для слепых. «Как закалялась сталь» — 28 огромных томов, первая книга, прочитанная пальцами. Отныне это его оружие, его руководство к действию.

Отвечая на анкету заводской многотиражки «Локомотив», в графе «профессия» Николай написал: «воспитатель-надомник». Написал в шутку, но это было правдой. А началось все с Люды, его племянницы, дочери умершего брата. Ей он был другом, наставником, учителем. Не случайно Людмила Наац окончила школу с золотой медалью, а технологический институт — с красным дипломом.

Главное, чему он хотел ее научить, — стойкости. А к самой жизни, казалось, навсегда повернулась стороной самой мрачной. Здоровье убывало неумолимо, как песок в песочных часах. Иркутск, клиника. Эффекта нет. Улан-Удэ, больница. Безрезультатно. Снова Москва. Операция. Еще операция. Слепота. И новый удар — отнимаются ноги.

Изнурительная, изматывающая борьба за жизнь. Тренировки: турник, динамометр, зарядка. Результаты ничтожные, а он радуется каждой крошечной победе: «Ура! Лимон совершил дерзкую прогулку — с помощниками дошел до ванны... Сделал несколько шагов сам. Такое счастье! Рад за папу с мамой, за их радость... Еду домой. Доехал на коляске, а на второй этаж меня, как китайского мандарина, внесли на руках». С этого дня он никогда не выйдет из дома самостоятельно. «Никаких иллюзий относительно своего состояния», — скажет о нем лечащий врач.

Борьба с болезнью была его полем боя, оптимизм — оружием. Не наигранное, вымученное бодрячество, а полнокровный, здоровый оптимизм, такой заразительный для окружающих. Духовного здоровья в нем хватало на пятерых. И не он жаловался пришедшей медсестре, а она ему — на своего «оболтуса и разгильдяя», на которого нет никакой управы. И «оболтус» — живой и неугомонный мальчишка — чуть ли не поселился в его комнате. А награда за это последует спустя много лет в виде внезапного визита бывшего «оболтуса», теперь отца семейства и уважаемого на работе человека, и слов его горячей благодарности. И так же, спустя много лет, с болью и гордостью услышит он о героизме пограничника Петрова — одного из своих «пионерчиков», любивших бывать у него дома.

А однажды к нему явился целый класс. Знаменитый пятый «г» сороковой школы. В отчаянии от своих воспитанников их привела классный руководитель Т. Н. Ситникова. Класс был сборный, на редкость неудачный. С «трудновоспитуемыми» родителями, с двенадцатью второгодниками и почти поголовной неуспеваемостью. Учительница, прослышав о добровольных педагогических усилиях Лимонова, буквально кинулась к нему за помощью.

Много выпускников было у Ситниковой, но те, «отпетые», остались любимчиками. Собираются они, взрослые уже люди, ежегодно и непременно вспоминают, как впервые пришли к Николаю Ильичу и как ошарашил он их своим весельем, заворожил птичьими трелями, как покорила их ребячьи души. И как, составив график посещения Лимонова, они тут же его нарушили и какие были обиды и даже ссоры, чья очередь идти к дяде Коле.

Что влекло людей к нему? Преклонение перед силой духа? Да, но не только это. И открытая сердечность, и душевная щедрость, и особый талант товарищества.

И еще, наверное, необыкновенный, неиссякаемый в любых ситуациях юмор. Не минометные встречи — годы и годы связывали Лимонова с друзьями. «Уже двадцать два года я бываю в этом доме. Каждый раз ухожу отсюда с приподнятым настроением...» «Хожу к дяде Коле четвертый год, с первого класса. Я его уважаю, я его обожаю и, конечно, люблю...» «У меня подрастают дети. И мое самое заветное желание, чтобы они хоть чуточку были похожи на моего друга...»

Таких записей, оставшихся в «Книге друзей», которую, кстати, придумал я, очень много. Никто, кроме самого Николая, не знал, сколько у него друзей и знакомых в разных уголках страны. Выросшие тимуровцы, товарищи по больничным «эпопеям», люди, встреченные в дороге, соседи по дому, однополчане, заводчане.

«Есть такое понятие — энергетически сильный человек, — сказала его лечащий врач Е. В. Николаева. — Так вот Лимонов именно такой. Сгусток негибимой воли, магнит для людских сердец. Люди всегда тянутся к умному, зрячему сердцу».

Как только в Бурятию прибыл первый отряд строителей БАМа, Николай сразу же с моей помощью установил с ним тесные контакты. Вскоре посланцы бамовцев уже были в гостях у Лимоновых, объявив ему, что зачислили его в бригаду Владимира Жалнина. Конечно, он был безмерно горд и рад. Но посланцу бамовцев сказал: «Как-то неловко получается, ребята вкалывают, а я тут полеживаю. Вы уж постарайтесь, чтобы я не оставался без дела».

Опасался он зря. Был период организации, неустроенности. Люди были нужны всюду. Скоро дел у него было выше головы. Разговоры с друзьями теперь начинались так: «Ура! Достал! Как что? Половую краску. Пока только триста килограммов, но выколочу еще. Кстати, ты не знаешь, где обои завалились?» Обои, оконное стекло, бензовозы, гвозди, плиты... Ежедневно с утра он звонит во временный штаб отряда, докладывает, что удалось сделать. По его адресам рассылают снабженцев. «Он сэкономил нам бездну времени», — скажет о тех днях один из руководителей отряда.

«Как я доволен, — радовался в те дни Николай, — что дожил до времени, когда дыхнуть некогда. Теперь я бамовец. Тружусь не покладая рук, чтобы оправдать доверие моей бригады. Бывает много делегаций. Очень много помогают комсомольцы. Комсорг завода Саша Лубсанов заходит, звонит: «Николай Ильич, чем еще помочь, побольше давайте заданий для БАМа...».

С моей «подачи» Николай Лимонов стал «корреспондентить» и вскоре преуспел в жанре заметки и информации, стал регулярно публиковаться на страницах газет «Молодежь Бурятии», «Локомотив» и «Правда Бурятии». Я же предложил Николаю написать повесть «О пережитом и пройденном». Рукопись рождалась в муках и поисках нужного слова, интересного факта. Николай диктовал страницу за страницей, заставляя своих добровольных помощников переписывать, править и снова писать, но уже «по-новому».

Главки из книги были опубликованы в газете «Правда Бурятии», прозвучали по республиканскому радио. Но при жизни Николая, увы, она не успела увидеть свет. Благодаря усилиям «квартета» редакторов (А. Г. Студенникова, И. И. Филипповой, П. Ф. Калашникова и моим) рукопись удалось издать в Бурятском книжном издательстве под названием «Память сердца». Позже эта книга выдержала два издания и была даже отмечена премией на Всероссийском конкурсе имени Николая Островского. И мы — друзья Коли Лимонова — были рады, что наконец-то выполнили свое обещание, данное ему в свое время.

Однажды в канун Дня Победы мы пришли к нему вместе с капитаном из Железнодорожного военкомата. После долгих наших хлопот Николая нашли три боевые медали, полагающиеся участнику боев с империалистической Японией. Капитан приколот их Лимонову на грудь, и тот, как положено солдату, ответил: «Служу Советскому Союзу!» Наградами он очень гордился. Однажды на какое-то неумное сочувствие ответил непривычно сердито: «Я не великомученик, а боец!»

...По-прежнему зеленеют деревья на улице имени Лимонова, а на фасаде дома, где он жил, установлена мемориальная доска. Одна из улочек бамовского поселка Гоуджекит также носит его имя. Ему посвятили свои стихи Ирина Филиппова и Геннадий Головатый — тоже люди мужественной судьбы, а также Галина Чеботарева, Борис Мирлас, Светлана Нестерова. Иркутская киностудия сняла о Лимонове документальный фильм «Сибирский Корчагин». Память о нем осталась в сердцах людей. А, значит, он оставил свой след на земле.

Евгений Голубев

журналист, краевед,
заслуженный работник
культуры РФ и РБ

Снайпер Цырендаши Доржиев



Ц. Д. Доржиев

*Пусть твоим именем светятся
Степи Тугнуя вовек!*

Хоца Намсараев

I

Мой дед Цырендаши Доржиев родился 5 мая 1912 года в улусе Барай Адаг (Усть-Бар), расположенном в широкой просторной степи нижнего течения речки Тугнуй Мухоршибирского района. Отец его Доржи был кузнецом, золотых и серебряных дел мастером, знаменитым на всю степь. Возле его кузницы постоянно толпились заказчики на лошадях и подводах. Его золотые, серебряные и металлические изделия, будь то ювелирные украшения или домашняя утварь, до сих пор в ходу у народа. Цырендаши с малых лет помогал отцу, ковал горячее и холодное железо, умел делать ножи и топоры, вилы и косы, железные детали конской сбруи, разнообразную посуду, оси и тележные колеса, запчасти к автомобилям, однако дарханом, мастером, как отец, не стал. Причина была одна — он с малых лет отличался сверхметкой стрельбой.

Цырендаши с детства ходил на охоту с отцом. Охотились на крупного зверя в тайге по речке Субэлдэй (с. Подлопатки) и в Капчеранге, а на коз и тарбаганов — поблизости.

Когда я был маленьким, моя прабабушка Мэдэгма, мать Цырендаши, рассказывала, что дома было много ружей. В правой стене бревенчатого летника, называемого бурятами «модон гэр», имелся тайник, где хранили винтовку. Бабушка Бадагар, жена Цырендаши, добавляла:

— В подполье дома тоже был тайник. Поднимешь половицу, а там, в деревянном ящике, одни ружья: длинные и короткие винтовки, японский карабин, который

мы прозвали «желтый коротышка», а в металлическом ящике хранились патроны. В другом железном сундучке прятали деньги.

— Выйти замуж за богатого, да еще такого видного человека всегда считалось большой удачей, — рассказывала бабушка. — Мне повезло. Муж был славным парнем. Бог дал ему живой ум, веселый нрав и сильную волю. Жили мы в достатке. От зари до зари кипела работа, стучала и гремела кузница. Мы трудились, не покладая рук. Помню, много косила в кустах по берегу Тугнуя. Отец Доржи складывал золотые и серебряные монеты столбиком, заворачивал в желтый шершавый пергамент и прятал в железный ящичек. Были у нас мотоцикл и велосипед...

На фотографиях тех лет дед в бостоновом костюме и восьмиугольной кожаной фуражке. Белоснежная рубашка, галстук, на котором блестит золотой зажим. От левого лацкана до нагрудного кармана дугой повисла серебряная цепочка карманных часов. А вот бабушка. Редкой красоты девушка двадцати лет в черном платке поверх высокого чистого лба.

— Цырендаши мой умел делать все. И делал так, что всегда любишь. Но стрелял он, ой-ей-ей, до того шибко, что диву давалась. Видимо, Бог готовил его с самого рождения к той войне...

Был хороший друг у Цырендаши из села Бар, к сожалению, имя его теперь не помню, только кличку — Нюхата.

— Цырендаши был стрелком от Бога, — рассказывал он. — Однажды воткнул в чурку нож, за ним приставил доску. Мы отошли на какое-то расстояние.

— Видишь нож? — спрашивает.

А я не то что лезвие, ручку ножа вижу — не вижу. Цырендаши выстрелил с руки, мы подошли к мишени. К моему великому удивлению, свинцовая пуля берданы была разрезана ножом и впилась в доску двумя ровными половинками. Зрение имел Цырендаши прямо орлиное!

В отделе милиции Мухоршибирского района, где работал Цырендаши, ему не было равных в стрельбе. Наступили времена репрессий, отца Доржи признали классовым врагом, раскулачили, национализировали все имущество и сослали в поселок Сокол под Улан-Удэ. Там, в черной, без вентиляции и отдушин, кузнице, наглотавшись за два года дыма, гари и копоти, заработал он болезнь легких и был отпущен красной властью домой умирать. Не стало Дархана Доржи в 1936 году. Сразу после его смерти начались гонения на Цырендаши как классового врага. Мой отец Далай, 1931 года рождения, рассказывал, как в пятилетнем возрасте ездил на подводе с отцом в Мухоршибирь:

— Отец вытаскивал какие-то бумаги из планшетки, просматривал их, рвал и бросал. Клочки бумаг снегом разлетались на ветру, мне они казались фантиками конфет.

Чуть позже друг-тала из Шаралдая предупредил Доржиева, что ночью за ним приедут. Цырендаши быстро собрался, сел на велосипед и был таков.

— Он ушлый был, мой Цырендаши, — вспоминала бабушка. — В Тарбагатае продал свой велосипед. Имея деньги, везде можно надежно спрятаться. Добрался до Улан-Удэ, потом уехал в Москву, где удобнее всего было скрыться от НКВД. Работал на каком-то кожевенном заводе.

В 1940 годы в Москву на ВДНХ ездили передовики производства из Бурят-Монгольской АССР. Среди них была прославленная чабанка из мухоршибирского

села Харьястка (Баруун Харгаата) Бальжима Санжиева. Узнав про приезд земляков, Цырендаши нашел их на ВДНХ, передал через Бальжиму подарки детям и одежду. Сохранилась фотография отца в возрасте пяти-шести лет в матросской форме.

II

В 1941 году, в год огненной змеи, Цырендаши Доржиев был призван на фронт Михайловским РВК Рязанской области. «Мне дали винтовку, подводу и направили в хозяйственный взвод», — писал он домой с горечью, но уже в августе 41-го его заметили командиры, об этом рассказали однополчане Цырендаши, гостившие у нас в Харьяске, в доме отца, в 1989 году.

Летом 1941 года 645-й мотострелковый полк 202-й дивизии 11-й армии Северо-Западного фронта переименовали в стрелковый, шла работа по его реформированию. Новый командир полка устроил соревнование по стрельбе из табельного оружия среди офицеров штаба. Началась пальба в глубине леса по банкам и бутылкам. Недалеко находилась подвода Доржиева.

— Товарищи командиры, разве можно так стрелять?

— Кто такой?

— Боец Доржиев.

— Покажи, как сам стреляешь.

Этого Доржиеву и надо было. Стрелял из своей винтовки по десятикопеечным монетам, превращая их в кольца, аккуратно срезал ветки на деревьях. Командиры были ошеломлены. Командир полка после долгой беседы с бойцом сказал:

— Будешь снайпером.

Цырендаши Доржиев стал первым снайпером не только в полку, но и в дивизии. Его зачислили в стрелковую роту, но поселили в комендантский взвод, размещавшийся непосредственно при командном пункте полка. Начальник артснабжения полка Н. М. Слажнёв привез снайперскую винтовку и полевой бинокль. Цырендаши, прирожденному стрелку, не надо было учиться искусству снайпера, ему достаточно было пристрелять новую винтовку и приноровиться к оптическому прицелу. По приказу командира полка Цырендаши тренировался весь день, а на следующий был направлен на передовую. Так началась его война.

Снайперское дело — весьма рискованная военная профессия. Снайпер всегда на переднем краю, на самых ключевых позициях, либо на нейтральной полосе под носом у врага. Снайпера обычно сопровождали один-два бойца, помогавшие скорректировать огонь, обеспечить прикрытие, они же фиксировали точное количество пораженных целей. «Первое задание я выполнил, — писал Цырендаши домой с гордостью. — Замаскировался и терпеливо ждал появления врага. Когда первый выполз, одним выстрелом уложил его. Показался второй, и его я уничтожил».

Это было боевое крещение снайпера Доржиева. Правда, за второй выстрел, на который не имел права, он получил нагоняй от командира полка, не засчитавшего ему двух фрицев. Цырендаши Доржиев воевал в течение 17-ти месяцев. Всего за свой короткий, но славный боевой путь он успел вывести из строя (вместе с неучтенными тремя) 300 фашистов — целый батальон, а также истребитель «Мессершмит-109» последней на тот период модели.

III

Цырендаши Доржиев за 17 месяцев участия в войне, четырнадцать из которых воевал снайпером, уничтожил 297 гитлеровцев. По подсчетам военных экспертов, он перевыполнил норму снайпера для получения звания Героя Советского Союза в полтора раза. Тогда почему Доржиев не получил его?

118

Причин тому, на мой взгляд, две. Объективная причина заключалась в том, что в первые годы войны звание Героя присваивали за единичные, но яркие подвиги таким как Александр Матросов, капитан Гастелло, Зоя Космодемьянская. Эти посмертные награды служили моральным примером для бойцов. Однако ежедневный героизм — как у снайперов, методично уничтожавших врага, — оставался в тени, редко получая столь высокое признание.

Субъективная же причина видится мне более важной. Командование, представляя в мае 1942 года Цырендаши Доржиева к званию Героя Советского Союза, направило запрос на него в Бурят-Монголию. Какой ответ оно могло получить из тыла? Сын репрессированного классового врага, оставил семью, скрывался в Москве и т. д. Я, как и мой отец Далай, думаю, что Цырендаши решил для себя во что бы то ни стало вернуться на родину со звездой Героя в качестве охранной грамоты. Кто осмелится тронуть вернувшегося Героем?

Со слов однополчан, Доржиев каждый день «выходил на охоту». Конечно, не может быть такого, чтобы командование отправляло его на задание каждый день. Но факты свидетельствуют, что Цырендаши не прекращал свою войну даже тогда, когда его 645-й полк уходил в тылы на кратковременный отдых. Цырендаши просто не умел сидеть без дела. Такой уж у него был характер, и я хорошо понимаю деда.

Однажды Цырендаши зашел в блиндаж к бойцам.

— На нейтральной полосе появился немецкий снайпер — «кукушка». Отправляюсь его искать. Кто пойдет со мной?

Вызвался его ученик, снайпер Петр Харлинский.

Было светлое время суток. Они шли по лесной тропе, пролегавшей через кустарник, шли так тихо, что сами не слышали собственных шагов. Вдруг Цырендаши остановился и навскидку выстрелил. С дерева, стоявшего напротив них на расстоянии двухсот метров, тяжело упало тело человека.

— Как ты узнал, что там сидит снайпер? — удивился Харлинский.

— Ворона помогла, — ответил Доржиев. — Прилетела, хотела сесть, да отпрянула. Не иначе как испугалась. Посмотрел на дерево, а ветви его темнее с правой стороны. Кто еще, кроме человека, мог находиться там? Хорошо, что успел выстрелить первым.

Но однажды Цырендаши все же проглядел «кукушку».

Было это в начале зимы 1942 года. По счастливой случайности, немец стрелял из автомата «Шмайссер» и не попал. Да и расстояние было довольно большое для автомата — 200 метров. Доржиев крикнул, кинулся вперед и упал за большой пенёк. То же самое сделал и сопровождающий. Под грудью Доржиева оказался противогаз, он сильно мешал, причиняя боль. Убирая его, Цырендаши чуть шевельнулся, и тут же две пули ткнули в подсумок. Фашист поливал их свинцом так, что только щепки летели от пня, служившего защитой.

— Не шевелись, только не шевелись, — шептал Цырендаши бойцу.

Немец пострелял-пострелял, видит, они не шевелятся, и успокоился.

Час лежат они в снегу без движения, два часа. Вдруг появился немец. Он шел по тропе между деревьев, держа в руках дымящийся котелок. Видимо, наступила пора обеда. Остановился под деревом. Как только на дереве шевельнулись ветви, Цырендаши выстрелил. Ломая ветви, рухнул вниз немецкий снайпер. Нижний, бросив котелок, побежал между деревьями, делая резкие зигзаги. Но что Цырендаши вилание немца? Он выстрелил с колена, и фашиста словно подкосило.

Полковой комиссар Арсений Захарович Едакин рассказывал в письме моему отцу:

— Однажды и я был в помощниках у Цырендаши. Наш полк находился тогда в тылу на переформировании. Мы довольно долго шли по лесу до передовой, затем ползли по нейтральной полосе метров триста, перешли овраг и залегли в кустах. В трехстах метрах от нас была передовая немцев. Доржиев дал мне свой восьмикратный бинокль, а сам осматривал вражеские позиции через оптический прицел винтовки кратностью в три с половиной. Вижу, как из окопа появляется голова немца, иногда они высовываются над бруствером по грудь. Сообщаю об увиденном и даю снайперу ориентиры.

— А вы повнимательней посмотрите, — говорит Цырендаши, — это фанерные мишени.

Прошло часа два, и наконец появился «живой» немец. Первым, как всегда, заметил его Доржиев. Фашист полз к передовой с термосом за спиной. Цырендаши выстрелил, и немец, дернувшись, перестал шевелиться. По правилам снайпер имеет право только на один выстрел в такой ситуации. Иначе немцы определяют место выстрела и начнут палить со всех стволов. Мы тихо пролежали еще час и благополучно вернулись в свое расположение. Я расписался в его синем блокноте напротив даты и цифры один.

Прошел день, и Цырендаши снова пришел за мной.

— Товарищ лейтенант, — обратился он ко мне, — на дереве на нейтралке, совсем недалеко от наших позиций, сидит немецкий наблюдатель. Пойдете?

Мне стало интересно, и я пошел с ним. Дошли до первого окопа и стали наблюдать из замаскированного места. Доржиев показал на толстую сосну, одиноко стоящую на нейтральной полосе. Я навел бинокль на старое дерево с густой черной кроной, но ничего подозрительного не заметил.

— Хорошенько смотрите. Особенно обратите внимание на ствол дерева выше середины.

Я всматривался довольно долгое время, однако ничего не увидел.

Цырендаши мне подсказывал:

— Ствол дерева имеет утолщение наверху. Изучите то место.

Сосна выше середины была немного искривлена.

— Это надо исправить, — сказал Цырендаши и, прицелившись, нажал на курок.

На том месте, где я разглядел некоторое искривление, повисло тело человека. Видимо, немцы в ночное время посадили наблюдателя на дерево и привязали ремнем, чтоб в случае сна не свалился. И я во второй раз расписался в блокноте Доржиева.

Цырендаши с большой охотой воспитывал снайперов: учил теории, практиковал стрельбу по мишеням, делился опытом. Среди семи его учеников особенно выделялись Петр Харлинский и Георгий Августинovich. Как-то командир полка дал

задание трем снайперам перекрыть лесную дорогу, по которой двигались вражеские автоколонны. Доржиев и Харлинский заняли позиции по двум сторонам дороги, Августинovich замаскировался посередине. Вскоре показались шесть немецких грузовиков, набитых солдатами. По договоренности Доржиев уничтожил водителя первой машины. Она резко вильнула в сторону и, с хрустом врезавшись в дерево, остановилась. Следующая наехала на нее и тоже встала. Снайперы начали хлестать по врагу. В этой короткой схватке было уничтожено 54 фашиста.

Удивительно, но Цырендаши Доржиев мог видеть и поражать врага и в ночное время. Однажды командование дивизии решило провести соревнование среди снайперов по стрельбе в ночное время. Установили на расстоянии ста метров десять грудных мишеней — фанерного фрица в каске, осветили прожектором на пять секунд и разрешили вольную стрельбу. Никто из снайперов не попал в цель. Настала очередь Доржиева. Тогда он пользовался снайперской десятизарядной винтовкой Токарева, оружием капризным и требующим тщательного ухода. Однополчане вспоминали, что Доржиев пользовался затворным чехлом, изготовленным собственными руками. Человек аккуратный, Цырендаши, конечно же, содержал нежную винтовку в чистоте. Так вот, Доржиев занял позицию и произвел десять выстрелов. Правда, времени не жалел. Выстрелит и замолчит надолго, выстрелит и опять долгая тишина. Но все его пули нашли цель...

— Я хорошо знал снайпера Цырендаши Доржиева, — писал его однополчанин, командир полковой артиллерии Нейман Борис Семенович. — Он часто приходил к нам на наблюдательный пункт, расспрашивал о дислокации боевых сил врага, делал пометки в своей карте, подолгу наблюдал за местностью в свой восьмикратный бинокль. В солдатской защитного цвета плащ-накидке, с брезентовым подсумком для патронов, всегда подтянутый, аккуратный и с неизменной снайперской винтовкой.

Социалистические соревнования, возникшие на заре советской власти, имели свое продолжение и в военное время. В апреле 1942 года по приглашению командования Северо-Западного фронта прибыла в места боевых действий делегация из передовиков производства Бурят-Монгольской АССР. Кроме Красного знамени и договора на соцсоревнование, труженики тыла привезли подарки в нескольких вагонах. Цырендаши Доржиев не смог встретиться с земляками, так как 645-й полк участвовал в наступательных боях, и снайпер находился в авангарде штурмовых подразделений.

3 мая 1942 года, во время пребывания бурятской делегации на фронте, он расчищал в бою за село Симоново дорогу наступающим войскам своей винтовкой. В тот день Доржиев уничтожил семнадцать гитлеровцев, в том числе одного офицера, четырех пулеметчиков, двух наблюдателей и десять солдат. День того майского месяца знаменателен для снайпера еще и тем, что он сбил броневойно-зажигательной пулей вражеский самолет «Мессершмит-109», поливавший свинцом наступающих красноармейцев.

Случай интересен тем, что до него еще никто не сбивал самолет из армейской винтовки. Цырендаши и раньше предлагал командирам и снайперам стрелять по самолетам тяжелыми пулями, однако, как говорится, сам претворил свою идею в жизнь. Некоторые фронтовые корреспонденты писали в армейских газетах, что Доржиев попал в рулевое управление самолета, другие были убеждены, что снайпер поразил самого летчика. Вот что рассказал сам Цырендаши:

— В наступлении наши войска были как на ладони, немецкий самолет сбрасывал нам на головы весь свой боевой груз, обстреливая сверху пулеметом и скорострельной пушкой. Я зарядил винтовку бронебойным и поразил летчика (опубликовано в дивизионной, фронтовой и армейской газетах).

Представим картину боя: атакующие красноармейцы на открытой местности. В грохоте пушек и пулеметов, взрывов и ружейных выстрелов можно уловить яростный нечеловеческий рык бойцов, накрываемых плотным огнем фашистов из всех стволов. Появляется «Мессершмит-109», лучшее инженерное изобретение того времени, заходит с воем в пике. Атака бойцов захлебнулась. Все залегли, укрывшись от еще более уплотнившегося огня. Доржиев встает во весь рост навстречу свистящим пулям и сбивает яростную машину смерти. Атака продолжилась. В итоге село Симоново было освобождено.

После этого боя командование полка и дивизии представило Цырендаши Доржиева к званию Героя Советского Союза. Но, как было сказано выше, на основании информации из тыла, на представление, видимо, рукой командарма генерал-лейтенанта Морозова, была наложена резолюция: «Ограничиться орденом Ленина».

Передо мной наградной лист.

Доржиев Цырендаши Ринчинович, 1912 г. р., к. в чл. ВКП (б), красноармеец, снайпер 1-го стрелкового батальона 645-го Краснознаменного стрелкового полка 202-й стрелковой дивизии, представляется к ордену Ленина. В графе «Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг» говорится, что «... тов. Доржиев прославился как меткий стрелок — отличный снайпер и стал известен всему фронту в качестве истребителя немецких оккупантов. На боевом счету снайпера Доржиева 174 уничтоженных гитлеровцев... был сбит немецкий самолет «МЕ-109»... За время пребывания в полку он обучил 7 снайперов.

Достоин награждения правительственной наградой — орденом Ленина.

Командир 645 КСП. Военком 645 КСП

подполковник Дмитриев, бат. комиссар Дробышев.

26 мая 1942 г.

Достоин награждения орденом Ленина.

Командир 202 СД. Военком 202 СД

полковник Штыков, полковой комиссар Хвелей.

29 мая 1942 г.

Достоин награждения орденом Ленина.

Командующий 11 армией. Член Военного Совета армии.

Генерал-лейтенант Морозов, див. комиссар (подпись).

17 июня 1942 г.

Награжден орденом Ленина приказом войскам СЗФ № 0743 от 16 июня 1942 г.

Еще один наградной лист, где говорится о награждении Цырендаши Доржиева медалью «За отвагу». Приказ командования 11 армии за № 0173 от 27 сентября 1942 г.

О боевых заслугах Ц. Доржиева писали полковые, дивизионные, фронтовые и армейские газеты, призывая «уничтожать фашистов, как снайпер Доржиев!»

Цырендаши знали не только на фронте, о нем, благодаря военным журналистам, фотокорреспондентам и кинооператорам, знала вся страна. К примеру, в «Союзкиножурнале» №62 был запечатлен момент вручения ордена Ленина снайперу.

— Доржиев был живой легендой, — рассказывала санинструктор 682-го полка Нина Ивановна Рычкова из города Старая Русса. — Мне было шестнадцать, когда я попала на фронт. Услышав: «Доржиев идет на охоту!», мы выбегали из блиндажей и палаток посмотреть на него. Подтянутый, в плащ-накидке, с биноклем на груди, со снайперской винтовкой на плече и с неизменной улыбкой — таким и запомнился наш Доржиев.

IV

После выхода приказа о награждении снайпера Доржиева орденом Ленина 28 июня 1942 года в Улан-Удэ по приглашению Бурят-Монгольского обкома партии прибыла делегация Северо-Западного фронта, состоявшая из командиров, политработников и отличившихся бойцов. Среди них был и Цырендаши Доржиев.

Встретили гостей руководители республики во главе с первым секретарем обкома партии С. Д. Игнатьевым и Председателем Президиума Верховного Совета Б.-М. АССР Г. А. Цыденовой. Члены делегации встречались с коллективами заводов и фабрик, учреждений и организаций, рассказывали о своих боевых делах, зверствах фашистов, призывали народ к стахановскому труду во имя победы. После чего Цырендаши Доржиев поехал в Мухоршибирь в сопровождении С. Д. Игнатьева и вооруженной охраны.

Дамбе Цыреновичу Будаеву — ныне председателю Мухоршибирского землячества — тогда было 12 лет.

— Цырендаши Доржиев и мой отец Цырен были давними друзьями, — рассказывает он. — Когда я был маленьким, Доржиев приезжал к нам на мотоцикле. У отца были швейцарские золотые часы в черной оправе, и Доржиев предлагал обменять их на велосипед. Я его хорошо помню: худощавый, улыбчивый, смывленный — симпатичный был человек. Помню, как он приехал с фронта на родину. Был с ним первый секретарь обкома Игнатьев. Приехали они на легковой машине. Наш колхоз тогда назывался «Комсомолец». Собрались хошун-узурцы — и стар и мал. Доржиев рассказывал о войне, призывал земляков к ратному труду...

Ждали Цырендаши в райцентре, в Мухоршибири и других селах. После Мухоршибири он заехал к матери в улус Хухын-Булаг. Прабабушка Мэдэгма со слезами на глазах рассказывала:

— Так сильно торопили моего сына, что он путем даже и не посидел дома. Худой и тонкий, сел в маленькую машину, и они поехали... Сын все кричал: «Я вернусь, мама! Я вернусь домой!»

Жена и дети Цырендаши жили в улусе Номто-Шибирь. Моя бабушка Бадагар в ожидании мужа проглядела все глаза. Времена были тяжелые, власть была жесткая. Цырендаши не пустили к семье в Номто-Шибирь. Сегодня такое кажется дикостью, а тогда душа человека не бралась в счет. Повезли его на встречу с братом Дамбажапом, пахавшим поле на тракторе недалеко от Хошун-Узура. Он был моложе Цырендаши на одиннадцать лет, позже был призван на фронт, воевал и вернулся домой.

— Брат приехал ко мне на легковой. Очень торопился. Я спросил его: «Ты действительно стал снайпером?» Брат взял винтовку у красноармейца, стоявшего рядом и «срезал» одним выстрелом пробежавшего вдалеке суслика, считавшегося врагом наших хлебов, потом наказал мне хорошо работать, обнял и уехал.

Мой отец Далай, двенадцатилетний мальчишка, не дождавшись отца, пешком отправился на встречу с ним. Стер ноги, пока добирался до улуса Хухын-Булаг, а это двадцать километров, но опоздал всего на десять минут! От обиды и отчаянья обнял бабушку и долго-долго плакал, так он рассказывал нам через много лет.

Такое было время. Конечно, Цырендаши не мог не просить Игнатьева разрешить ему повидаться с семьей, но у первого секретаря был свой неотменимый план мероприятий: митинги, агитационная работа, расписанные по минутам. Возможно, он нашел бы время для встречи Доржиева с семьей, но в селе Зангин делегацию догнала телеграмма с фронта. Командование требовало, чтобы Доржиев срочно прибыл на передовую. Кто знает, может, вернулся бы мой дед с войны, повидайся тогда со своей женой и сыновьями, не лез бы на рожон.

Владимир Будаевич Цыбикдоржиев, главный редактор газеты «Угай зам» (Путь предков), двоюродный племянник героя, вспоминает:

— По архивным данным, предки Доржиева ранее жили в Шаралдае. Когда русские переселенцы заняли пашней луга и пастбища, они переехали на свой летник — улус Барай Адаг в 60-х годах XVIII века. Моя мать была младшей сестрой дархана Доржи, он выдал ее замуж за моего отца Цыбикдоржи, он же и проводил до дома жениха. Летом 1942-го мне было пять лет. Мало что сохранилось в моей памяти. Помню, как человек в военной форме поднял меня на руки и подбросил. И еще один эпизод. На боку у дяди Цырендаши был пистолет, и он стрелял из него в спичечную коробку, видимо, по просьбе земляков. Конечно, стрелял без промаха. Помню всеобщую радость.

Делегация Северо-Западного фронта, выполнив свою задачу, выехала 6 июля 1942 года на места боевых действий.

Вернувшись на фронт, Цырендаши Доржиев воевал еще более решительно. Если за прошедшие девять месяцев на его боевом счету было 181 фашист, то за остальные пять месяцев своей войны он уничтожил 116 гитлеровцев.

На последнее задание Цырендаши вышел 31 декабря 1942 года. Сопровождавший его боец остался неизвестным. Бои шли южнее озера Ильмень. Зима в тех местах холодная и сырая. В такую стужу окопаться, укрыться в земле невозможно. Цырендаши стрелял из оврага. После выстрела побежал по дну оврага, меняя позицию. Немцы определили место выстрела снайпера и пустили в ход шестиствольный миномет, отличавшийся большой плотностью огня. Доржиев получил слепое осколочное ранение в правое бедро, а товарищ его, по всей вероятности, был убит. Очнувшись, Цырендаши перевязал застывшую на морозе рану, как мог. У него не было сил даже ползти. Оставалось только ждать своих, чтобы вытащили его из нейтральной полосы. Прошли сутки. Помощь пришла только на вторые сутки.

Комиссар Арсений Захарович Едакин видел в последний раз своего друга, когда тот лежал на носилках под большим деревом.

— Укрытый плащ-палаткой, бледный, изможденный, он как всегда улыбался и говорил, что его немного царапнуло, вот подзалатают, и дальше будет воевать, — вспоминал комиссар.

Цырендаши погрузили в санитарную машину, водитель Иван Божечко доставил раненного в прифронтовой полевой госпиталь, а на завтра, 3 января 1943 года, не стало моего деда...

Главные улицы сел Мухоршибирь, Хошун-Узур и Харьястка, а так же одна из улиц столицы Бурятии носят имя Цырендаши Доржиева, в городском музее города Старая Русса Новгородской области имеется уголок боевой славы, посвященный ему.

124

Цырендаши Доржиев прожил тридцать лет. За отпущенное ему время он смог сделать для Родины столько, что иному не осилить и за век. И я живу под мирным небом с чувством огромной благодарности своему деду, внесшему значительный вклад в разгром фашизма, навеки вписавшему свое имя золотыми буквами в память народа.

Кланяюсь ему до самой земли.

Сергей Доржиев
внук Ц. Доржиева,
член СП России

Образ монгольского коня на войне в творчестве Галины Базаржаповой

Галина (Доржи-Ханда) Базаржапова-Дашеева является известным деятелем культуры, она внесла значительный вклад в развитие бурятского языка, фольклора, литературы и журналистики. Г. Базаржапова как художник слова отличается от многих своих собратьев по перу тем, что одинаково талантливо пишет прозу и поэзию. В основном ее произведения издавались на родном бурятском языке.

В фольклоре и литературе монгольских народов конь является сакральным, почитаемым животным, его образ воссоздан и в реальном, и мифологическом контексте. Юбилейной дате, 80-летию Победы, посвящена повесть Г. Базаржаповой «*Монгол мориной соло*» (Восхваление монгольского коня), написанная на бурятском языке. На войну в Россию монголы отправили 500 тысяч коней — почти каждого пятого. Автор собрала и вставила в основную канву повествования о судьбе монгольского коня в Великой Отечественной войне традиционные восхваления — *магтаалы*, афоризмы, обряды, песни, легенды и предания о коне, строки из стихотворений бурятских поэтов.

Основным героем повести является монгольский аргамак пестрой масти, в котором переплетаются совершенно белый, черный и солнечно-желтые цвета. Они считались лучшими рысаками, не зря народ сохранил славу о них в устном метком слове: *Агта хүлэгэй дээжэнь алаг, шаргал морид*. Кони такой масти были бесценными для монгола, если имеешь пестрого коня, то имеешь золотой очаг, будущее обеспечено: *Алаг моритойбди, алтан гуламтатайбди*. Любой конь у монгола почитается как драгоценность, но такие особенные кони почитались как лучший друг: Монгол без коня как птица без крыльев (*Моригүй монгол гээшэ далигүй шубуун шэнги*).

Отношение к коню в бурятском языке определяется такими характеристиками: «морин эрдэни — конь-сокровище... быстрый, рысак, скакун, свободный, сильный, удалой, резвый, грациозный, богатырский, игривый, здоровый, огонь, верный друг, помощник, добрый, друг человека» [Дырхеева, 2020, с. 87, 132–133]. В народной песне пестрый конь воспевается как надежный спутник в дороге: «На перевале Алтая, Хангая / пестрому скакуну доверимся» (*Алтай Хангайга дабуулхдаа, / Алаг жороодоо найдая*). Значимым является то, что Г. Базаржапова со ссылкой на авторов проследила историю монгольских пестрых коней в записи 1058 г. Абу Хамид аль-Газали, Н. Я. Бичурина, собрала сведения о конях данной масти в истории курыкан, монголов, бурят и выявила их состояние у современных монгольских народов.

В произведении мифы о коне, реальные истории на войне, раздумья самого коня, мистические истории с гаданием и молениями чередуются в естественном сочетании. Образ крылатых коней известен в фольклоре и литературе многих народов достаточно широко. В повести Г. Базаржаповой волшебные способности этих коней связаны с традиционной тэнгрианской мифологией монгольских народов. Пестрые кони отличались такой быстротой и легкостью бега, и казалось, что конь летит над землей. Ценным являются записанные автором повести устные повествования о крылатом коне из разных регионов республики. Например, ветеран труда Норбо-Самбу Пурбуев из Хурамши Иволгинского района рассказывает миф о том, что крылатый конь теряет свои волшебные способности, если посмотреть ему вслед.

Душу таких коней кочевники могли только тайными молениями и обрядами выпросить у главного небожителя Хурмасты. Не каждый имел право просить душу коня, на них могли ездить только лучшие богатыри и воины Чингис-хана. Автор в ходе повествования несколько раз упоминает родимое пятно на правом боку коня, пятно похоже на печать со старомонгольскими письменами. Предположение хозяина коня монгола Мягмара, что конь является реинкарнацией одного из 99 скакунов Чингис-хана с его печатью как бы продолжает мифологическую версию о скакунах подобной масти. Особенностью повествования Г. Базаржаповой является контаминация реальных и мифологических сюжетов в единую канву.

Отношение автора к образу коня как к мудрому человеку проходит генеральной идеей. Из множества рассказов о действиях коня на войне в первую очередь необходимо отметить умственные способности коня. По записи автора повести, Цэрэн-Доржи Памаевич Жамбалов (80 лет) из Тамчи Селенгинского района отмечал: «Конь-драгоценность имеет ум человека» (*Морин эрдэни гээшэ хоморой сэнтэй, хүнэй ухаатай хани гээшэ*). Хозяева пестрого коня на войне — персонажи не просто положительные, они коня принимают как близкого друга. В повести особое внимание уделяется детству коня, его хозяину монголу Мягмар, с любовью сумевшего вырастить такого умного коня. Не зря в народе говорят: «Если мужчина сильный, и конь его хорош» (*Эрын хайнда эмнигэй хайн*).

Первый его хозяин на войне, бурят Манзар, к своему монгольскому коню относится как к человеку, глядя в глаза ему, разговаривает с ним: «Мы с тобой одной крови, одной кости мы люди». Конь заслуживает в экстремальных ситуациях не просто уважения, в разведке конь оказывается спасителем и помощником. Умный и сильный конь на переправе через бурные реки спасает своего хозяина, вытягивая его в самых тяжелых ситуациях. Конь, сова и собака видят в темноте, поэтому в разведке второй его хозяин белорус Алексей полностью доверяется своему коню, его интуиции и видению ситуации. Алексей настолько привязан к своему коню, называя его «мой монгол», ценой своей жизни готов уйти раненым с фронта со своим другом, которому обязан жизнью.

Многие знают великолепную повесть известного английского писателя Джеймса Олдриджа «Удивительный монгол». Это произведение посвящено дикой лошади Пржевальского (*тахь морь*). Я посещала их в местности Хустай нуруу (Березовые хребты) в Монголии. Местность вся состоит из сопок и холмов, покрытых великолепным ковром травы (*хивс*). Воздух прозрачный и тишина, на склонах сопек растет береза. Уже сумерки и вдруг видим пасущихся *тахи* лошадей. Увидев людей, они понеслись вдоль холмов четкой вереницей, как дикие животные. Последним мчался

вожак, перед тем как скрыться из вида, он важно оглянулся и, гордо вскинув голову, исчез. Это умные и упорные дикие кони. Дж. Олдридж с великим уважением написал книгу о возвращении монгольского коня на родину из Англии, восхищаясь его упорством и умом.

Фронтоник Цогто Номтоев в повести «Шагжын хула» рассказал о коне, который сам вернулся с войны на родину. Имея в основе своего повествования многочисленные реальные истории о возвращении коней на свою историческую родину, Г. Базаржапова воспроизвела с мифологическими вставками и реальными описаниями событий возвращение монгольского аргамака из Беларуси на родину после смерти его хозяина Алеши. Исходная версия, что монгольские кони обладают сверхъестественной силой видения, и, если захотят, смогут одолеть любые преграды, дополняется обрядом открытия дороги хозяином коня для своего любимца. Здесь великая любовь человека к своему коню и вера в его способности. Монгольские аргамаки отличались особым умом, силой не только физической, а именно духовной. Верность — одно из притягательных человеческих качеств, присуща аргамакам больше, чем некоторым людям.

У Г. Базаржаповой есть книга «Зэрд» с одноименным рассказом о коне рыжей масти. Рассказ написан по достоверным сведениям, автор записала повествование фронтовика Гомбо Ширапова с Чисаны и создала свой художественный образ коня. Удивительно светлый и душевный рассказ о встрече солдата на войне со своим конем невозможно читать без слез. И что примечательно, именно конь узнает своего хозяина по его запаху. Понюхав хозяина, тихо заржав, поднеся свою большую морду к лицу Гомбо, конь крупными слезами плачет. Реальные описания коня как главного героя произведения доказывают их особую связь с человеком, родиной и невидимую нить между всеми живыми существами.

Стойкие и неприхотливые монгольские кони наравне с танками дошли до Берлина. На Поклонной горе в Москве стоит памятник умным и упорным монгольским коням. Про войну написано много книг, Галине Базаржаповой отдельный поклон, что обратилась к её редко освещаемым, малоизвестным страницам.

Литература:

Базаржапова Г. Х. Зэрд. Улан-Удэ, Новопринт, 2021, 255.

Дырхеева Г. А. Бурятский язык в условиях двуязычия: особенности трансформации языкового сознания (по результатам ассоциативного эксперимента): моногр. / отв. ред. Б. Д. Цыренов. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2020. 236 с.

Людмила Дампилова
д. филол. н., профессор
ИМБТ СО РАН

Приобрести журналы «Байкал» и «Байгал» и подписаться на них
вы можете по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, 23, каб. 16, тел. 21-50-52.

Подписано в печать 20.06.2025 г.

Дата выхода в свет 30.06.2025 г.

Формат 70 x 108¹/₁₆. Бумага офсетная № 1

Гарнитура PT Sans, PT Serif. Печать офсетная

Объем 11,2 усл. печ. л.

Тираж 500. Заказ № 4127

ГАУ РБ «Издательский дом „Буряад үнэн“»

670000, г. Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, 23

e-mail: unen@govrb.ru

baikalsoiol@yandex.ru

Страница на сайте burunen.ru

телеграм-канал https://t.me/baikal_mag

Отпечатано в ИП Воротников Д. А.,

ОГРНИП 321246800005073

Адрес местонахождения: 660075, Россия,

Красноярский край, г. Красноярск,

ул. Республики, д. 51, стр. 1

Тел.: 8 (391) 278-31-42

e-mail: info@uniset24.ru

Цена свободная

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
Буряад ҮНЭН

